Борис Зайцев

РЕКА ВРЕМЕН

ОТ АФОНА ДО ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Библиотека паломника

Библиотека паломника

Борис Зайцев

Река времен. От Афона до Оптиной Пустыни

ТД "Белый город"

2007

УДК 82
ББК 84Р

Зайцев Б. К.

Река времен. От Афона до Оптиной Пустыни / Б. К. Зайцев — ТД "Белый город", 2007 — (Библиотека паломника)

Борис Константинович Зайцев (1881—1972) — один из выдающихся писателей русского зарубежья, переводчик и публицист, классик Серебряного века. В сборник «Река времен» вошли разные по жанру и стилю произведения — жизнеописания святых, переосмысленные автором, его впечатления от путешествий по святым местам, биографическое эссе о Достоевском и художественные рассказы.

УДК 82
ББК 84Р

© Зайцев Б. К., 2007
© ТД "Белый город", 2007

Содержание

Жизнеописания святых 6
Царь Давид 6
I 6
II 11
Ill 19
Алексей Божий человек 21
I 21
II 22
III 23
IV 24
V 26
VI 27
VII 29
Преподобный Сергий Радонежский 32
Весна 32
Выступление 34
Отшельник 36
Игумен 39
Святой Сергий – чудотворец и наставник 42
Общежитие и тернии 44
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Борис Зайцев
Река времен. От Афона до Оптиной Пустыни

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви № ИС 10-10-0801

Жизнеописания святых

Царь Давид

Буду петь Господу, покуда жив:
Буду бряцать Богу моему, доколе есмь.
Псалом 103.

I

Младший сын Иессея вифлеемлянина пасет овец своего отца.

Царствует же Саул. Но неблагополучно: не послушался Бога, согрешил – Самуил пророкает ему падение. Произнес пророчество и ушел в Рамаф. Более никогда Саула не видел, но оплакал его.

Пророк Самуил мог бестрепетно рассечь царя Агага, мог и над Саулом плакать. Впрочем, не так долго. Он ведь и не он, лишь голос Бога, лишь слушающий и говорящий. Как ребенком слышал в храме слова о священнике и отвечал Богу: «вот я», – так и теперь, встал, взял рог с елеем и отправился. Путь его в тот же город, куда чрез тысячу лет волхвы придут – в Вифлеем Иудейский. Там ему дело как будто бы небольшое: принести жертву. Но вот именно лишь как будто.

Иессей приглашен к жертвоприношению. Его сыновья также. Один другого выше и статней, великолепнее. Но все это не то. Пророк принес в жертву юную телицу и не успокоился. Все ли сыновья пришли? Ведь Бог ясно сказал: «Я усмотрел Себе царя между сынами его».

Да, есть еще один, младший. Пасет овец – его Иессей и не считает: подросток. Пророк настаивает: «пошли за ним».

Появляется юноша Давид, в скромном облике пастушка. Понимает ли кто, для чего его зовет? «Это тот самый», – так говорит Господь. Велик Самуил. Грозен рог его с елеем, не напрасно Анна посвятила его Богу, бритва не касалась головы его. Он помазывает теперь, тотчас же, русого юношу с прекрасными глазами, только что взятого от пастбищ, тмина, дубрав, овец, коз, звездных ночей вифлеемских. А сейчас он помазанник в цари Израильские.

Пока еще тайно. Ни для кого не царь, кроме Бога и Самуила. Но уже дух Божий на нем, несмотря на всю его скудость. На нем тот дух, который был и на Сауле, а теперь отнят.

О том, что таинственно произошло в Вифлееме, откуда Саул мог бы знать, у себя в Гавае? Давид помазан на царство: если бы и сообщили ему, конечно бы, не поверил. Пастушок Иессеев – царь! Вместо него, победителя филистимлян, аммонитян и амалекитян!

Но узнал он другое: в Вифлееме есть юноша, очень милый, музыкант, гусляр. Скромный, красивый. Удивительно играет на гуслях.

Саул вызвал его к себе. Это нетрудно было сделать. Иессей дал осла, нагрузил его хлебом, положил мех вина, козленка – небогатый, вечный обиход Востока, – рядом зашагал Давид.

* * *

Он, конечно, был рожден поэтом, музыкантом: из породы украсителей Вселенной, как Орфей. Одиночество, овцы, звон цикад иудейских, веянье предрассветного ветерка (звезды бледнеют, нежно сиреневеют горы Моавские за Иорданом) – вот в чем возрастал. А над всем

этим Господь Саваоф. Он живет уже в сердце, но тайно. Может быть, именно в гуслях и говорит.

Но еще не в псалмах. Не тогда слагал Давид Псалмы – славу же Божию и могущество и величество Его ощутил, разумеется, уже на пастбищах вифлеемских.

Саул не ошибся в выборе. Юноша очень ему понравился, музыка его также. Он сделал его своим оруженосцем.

Сердце Саулово томил «злой дух от Господа». На него нападал мрак. Тогда он звал Давида, тот играл ему на гуслях. И вот Саулу лучше, он свободнее дышит. «Отступал от него злой дух».

* * *

Давид, хотя жил у Саула, но возвращался и домой. Когда началась война с филистимлянами, он как раз был у отца, а три старших брата его пошли в войско. Отец отправил Давида в стан снести братьям меру сушеных колосьев и десять хлебов. А тысяченачальнику – десять колобов сыру.

На отлогости дубравы, где стояли израильтяне, а против них – филистимляне, Давид явился деревенским юношей с дарами – не из пышных. Голиаф в это время хвастал и вызывал на бой. Тем же наитием, как Орлеанская Дева, Давид принял вызов. Так же, как она, чувствовал себя не собой, не каким-то Давидом из Вифлеема, а рукой Божией, поражающей чудище. Потому и сказал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом; а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильского, которое ты поносил».

Он и действительно шел без доспехов – снял те, что надел на него Саул. Был в пастушеском плаще, с сумкою для камней, с палкою и пращой. Сражался не как солдат войска Саулова, а как Божий посланец.

Исход боя известен. Он вознес Давида и открыл пред ним новое, блестящее, но и бедственно-грозное существование.

Давид сразу прославился. Когда возвращались с филистимской войны, народ выходил встречать победителей, женщины водили хороводы, пили, били в тимпаны.

И уже возглашали: Саул поразил свои тысячи, а Давид свои десятки тысяч.

Что-то было в нем обольщавшее и мужчин, и женщин. В собственной семье у Саула полюбили Давида двое: сын Ионафан, дочь Мелхола.

Ионафан предался ему вполне. «Душа Ионафана соединилась с душою Давида, и возлюбил его Ионафан как свою душу». Снял свою епанчу, отдал ее Давиду, все свое вооружение, до меча, и лука, и пояса: точно сливался с ним.

А Мелхола просто: «полюбила», – в Сауловом доме это кое-что значило. И любить умели, и ненавидеть.

Вот он, новый помазанник. Восходит, как юное божество. И чем ярче, светлее, тем черней прежний. Саул сделал его своим военачальником, но замышляет недоброе. «Только царства Давиду недостает? Что же, пусть!»

Предлагает ему в жены Мелхолу. Давид смущен. Царская дочь, он вчера еще только пастух, певец…

Но богатого выкупа и не надо: пусть убьет сто филистимлян. (Пусть, раздумывает Саул, филистимляне сами расправятся с ним.) Давид с ратниками своими вышел, убил двести – принес доказательства. Саул отдал за него Мелхолу. И стал врагом навсегда.

Давиду уже все удается. Пошлют ли его с поручением, он отлично исполнит. Воюет ли с филистимлянами, одолевает. Для Саула соперник опаснейший. И окончательно тот решает убить его.

Раньше бывало так, что, когда Саул впадал в тоску, Давид игрой на гуслях своих исцелял его. Теперь не то. Вот играет Давид, а Саул схватывает копье и в него мечет. Давид уклонился, но потом сказал Ионафану: «Между мною и смертию не более шага».

Смерть пришла бы, конечно, к Давиду, если бы не любовь.

Молодая Мелхола, подобно многим прабабкам своим, иудейкам лукавым, придумала хитрость: в ночь, когда слуги Саула должны были ворваться в дом Давида, захватить его, она спустила мужа тайно из окна, вместо него положила домашний кумир, под голову ему ковер из козьего волоса, накрыла одеждой. Посланным сказала, что Давид болен – вот он лежит в постели. Но Саул вновь посылает: пусть принесут и больного, чтобы убить. Этого, может быть, Мелхола не ожидала. Обман обнаружен. Но гнев отца она выдержала. Как могла бы предать ему любимого мужа?

Давиду нельзя было теперь видеться с Ионафаном открыто. Он встретился с ним тайно, накануне новомесячия, и заключил завет вечной любви: не тронет никогда потомства Ионафанова. А сейчас должен скрыться, дня на три. Потом будет ждать Ионафана у скалы Азель. Ионафан выведает окончательно, упорствует ли Саул в ненависти, или его можно смягчить. И вот Ионафан выйдет с отроком в поле и будет метать стрелы. Если крикнет отроку: стрелы не доходя тебя, – то жив Господь, нет опасности, можно возвращаться к Саулу. Если же скажет: стрелы дальше тебя… – тогда Давид должен уходить, Господь отсылает его, как стрелу.

На второй день новомесячия Саул спросил Ионафана, почему место Давида за столом пусто. Ионафан объяснил: Давид отпросился в Вифлеем. Саул впал в гнев, укорил Ионафана в любви к Давиду – метнул в него копьем. Ионафан увернулся.

А на другой день вышел с отроком в поле, к скале Азель.

Тихое и бессолнечное, с жаворонками, невысохшею росою, лиловыми горами в отдалении, утро Иудеи. Пустынно. Вдаль идут голые холмики кофейного цвета, перемежаясь с песками, кое-где кустарник, травка. Ионафан в епанче, с луком. Впереди отрок. Сбоку Азель – мертвый камень.

Стрела летит, падает. Другая свистит. Отрок бежит. «Нет ли стрелы далее тебя? Спеши, неси». Давид слушает за утесом: стрела далее отрока. «Господь отсылает меня».

Отрок приносит стрелу, Ионафан отдает доспехи – неси в город.

Никого нет вблизи. Отрок уходит. Может быть, ястребок пустыни видит Давида, выходящего из-за скалы.

Вот он стал с южной стороны, трижды поклонился земно, подошел к Ионафану, обнял его. Они поцеловали друг друга. И оба плакали. «Но Давид плакал более».

* * *

Он содрогнулся не напрасно. Разумеется, понимал, что ему предстоит. Из музыканта, юноши-пастуха, посланца Божия в борьбе с Голиафом превращался в мужа, ведущего тяжкую борьбу. Он знает цель. Помнит помазание. Но путь – сколь же и горек! Сколько борьбы, греха, мучения. «Скитание мое исчислено у Тебя, слезы мои хранятся в сосуде у Тебя, оне в книге Твоей».

Истомленный пришел Давид к Номву, к священнику Ахимелеху. Тот удивлен, смущен: почему же Давид один? Давиду приходится идти на все. Он обманывает Ахимелеха – первый же шаг уже прегрешение. Он говорит, что послан с тайным поручением царя, слуги ждут в другом месте. А сейчас он умирает от голоду.

У священника нет ничего кроме хлебов предложения. Он дает их Давиду. Тот ест. Происходит удивительное событие: беглец, обманувший священника, съевший хлебы, «снятые с трапезы Господней», торжественно входит в Новый Завет. «Проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали, и начали срывать колосья и есть». На упреки фари-

сеев о субботе Спаситель отвечает: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?»

Думая, что Саул послал его, Ахимелех дал Давиду, по его просьбе, и меч Голиафа, хранившийся при храме.

Давид ушел далее, к Анхусу, царю Гефскому. Шел и боялся: вдруг тот узнает в нем Давида, поражавшего «свои десятки тысяч». Тут впервые является знак исступленности, юродства Давида. Он прикидывается безумным, играет роль – не без успеха. «Чертил на дверях ворот и пускал слюны на бороду свою».

Но Анхус проявил явное здравомыслие. Разбранил слуг, что они пустили безумного «сумасбродствовать» перед ним. «Может ли такой ходить в мой дом?»

Давида выгнали, и он ушел – в пещеру Адулламскую, потом в землю Моавитскую, затем в Иудею, в лес Хареф. К нему собрались братья его и весь дом отца, а также угнетаемые, и притесняемые, и все душевноогорченные. Давид становится прибежищем обиженных, отряд его растет, достигает четырехсот человек.

А Саул разузнал, что священник Ахимелех принял Давида, – донес идумеянин Доик, в тот же день приходивший к Ахимелеху. Этому Дойку повелел Саул истребить всех священников в Номве – и самого Ахимелеха. Тот так и сделал, даже больше, в духе времени: «Как мужчин, так и женщин, отроков и грудных младенцев, и волов, и ослов, и ягнят, все острием меча». Один Авиафар, сын Ахимелеха, спасся. Прибежал к Давиду, рассказал о случившемся. Давид задумался. Он видел у Ахимелеха этого идумеянина. «Я знал, что он непременно донесет Саулу». Знал, но, что нужно ему было, сделал. Давид и не притворялся. Знал и сделал, ибо такова его судьба. Да, вот совершил грех: безвинно погиб из-за него Ахимелех и столько еще других. «Я повинен за всякую душу семейства отца твоего», – но он идет, продолжает идти, он – помазанник Божий, чрез все тягости и грехи надо выйти в вожди Израиля. О, насколько покойней, безгрешней юным Орфеем сидеть у дубравы, воспевать Бога, играть на гуслях.

Начинается время псалмов, исступленных восхвалений, покаяний, стонов – просьб и жалоб. «Боже! именем Твоим спаси меня и крепостию Твоею дай мне суд. Боже! услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чуждые восстали на меня и сильные ищут души моей».

По пещерам, пустыням, лесам скитается Давид с отрядом – не то атаман вольницы, не то пастух-царь, не то воин-музыкант с гуслями. Саул гонится по пятам. Надо вечно быть настороже, уходить, заметать следы, в глухих ущельях разбивать шатры, разводить огонь. И надобно питаться! Чем? Охотой, ловлей? Разумеется. Но и набегами. И в этом Бог участвует. В пустынной ночи спрашивает Его Давид: идти ли на филистимлян под Кеиль? «Идти». Идет, сражается удачно, отбивает скот. «Предадут ли меня жители Кеиля?» «Предадут» – и уже Саул со своим войском спешит захватить его там. Давид вновь уходит, спасается в горах Зиф.

В ранней юности пас он овец близ Вифлеема. Но тогда не было ни врагов, ни опасностей, гусли служили для пения сладостного. А теперь на этих же гуслях стон о гибели Ахимелеха. «Что хвалишься злодейством, сильный? Милость Божия всякий день. Гибель вымышляет язык твой; он, как отточенная бритва, совершает коварство. Ты любишь более зло, чем добро, более лгать, чем говорить правду. Любишь всякие речи гибельные, язык коварный! За то Бог ниспровергнет тебя вовек…» Но в конце, о Боге: «Вечно буду славить Тебя», – Бога Давид не забывает никогда.

Печаль же его велика. «Внемли мне и выслушай меня; я рыдаю в грусти моей и стенаю». Сколько этих стенаний в псалмах!.. «Моление мое пред Ним пролию, печаль мою Ему возвещу» – указано так: «Молитва, когда он был в пещере». Все, все против него! Одно прибежище – Господь. «Ты доля моя на земле живых».

Но на земле живых все необычайно. Предводитель отряда удальцов, тоскующий в горах, пещерах. Вождь, тяжким путем идущий к царству, – и провидец, возглашающий из своих пустынь: «Близок Господь к сокрушенным в сердце, и смиренных духом Он спасает». Атаман иудейский, с приближенными угоняющий скот у филистимлян, действующий «острием меча» и за тысячу лет до Нагорной проповеди возгласивший: «Кроткие наследуют землю». Наследуют землю! В век, когда на войне убивали не только врагов-воинов, но истребляли вообще всех, жен, и детей, и ослов, и ягнят – «все острием меча».

Давид достаточно натерпелся в скитаниях. Холодны ночи зимние в Иудее. Дымны костры в пещерах, кутайся в епанчу, слушай вой ветра в сухих кустарниках да завыванье шакалов. Но какие звезды! Как горит Орион.

А летом лиловенькая лаванда по скалам, мята, тмин, небесная нежность зорь утренних, райская чистота воздуха… Мех вина, козий сыр, ломоть хлеба – «вино веселит сердце человека», «хлеб укрепляет тело». Но нельзя быть праздным, созерцателем, поэтом, музыкантом Господним. В сиреневых долинах и за голыми кофейными холмами Иудеи бродят враги. Саул в вечной погоне!

Вот спустился Давид к утесу пустыни Маон, а Саул со своими идет по той стороне горы, стараясь его окружить, – у Саула людей больше. Давид на волосок от гибели. Вдруг Саул получает известие: филистимляне напали на страну. И ушел Саул. Гору же назвали «горой Отвлечения».

Но остановиться Саул не может. Злой дух владеет им, мучит, гонит. Отвоевав с филистимлянами, вновь кидается он на Давида. С ним три тысячи лучших воинов. Давид засел в неприступных местах Енгадди.

На вершине «скал горных коз» искал его Саул – здесь и произошла встреча. «И пришел к загону овец, подле дороги, где была пещера; и вошел в нее Саул для нужды; а Давид и люди его сидели в глубине пещеры».

Какой случай отделаться от врага! Беглецы шепчут Давиду: убей, ведь это Бог предает его в руки твои. Но Давид и Саул оба помазанники. Не просто борющиеся за власть царьки бродячего племени. Суд не пришел еще, и не Давид судья. Руку же Божию Давид как всегда ощущает – помазанника Господня убить не может. И, подкравшись безмолвно, отрезает кусок епанчи.

А потом, когда Саул вышел, Давид окликнул его. Саул обернулся. Наклонившись к земле лицом и простершись пред ним, стал умолять Саула не верить наветам. Он вовсе не враг. Если бы был враг… – и показал кусок епанчи. В дальнейших словах – и стон, и как бы скрытый упрек: «За кем выступил царь Израильский? За кем гоняешься ты? За мертвым псом, за одной блохой».

Саул поражен. Саул, метавший копье и в Давида, и в собственного сына Ионафана, тут заплакал. («Твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысив голос свой, заплакал».) Даже врага мог обольстить Давид! Тут обольстил явно тем, что опять – выйдя из Ветхого в Новый Завет – добром ответил за зло.

Давид поклялся ему, что не будет мстить его роду, когда станет царем.

На этом они расстались.

* * *

Но Саул скоро возобновил преследование. На холме Гахила вновь Давида настиг. Произошло почти то же, что и на «скале горных коз». Давид ночью пробрался во вражеский стан, похитил у спавшего Саула копье и сосуд с водою. Опять мог убить его, опять не убил. Утром же показал ему из своего лагеря это копье (не то ли самое, каким Саул пытался пригвоздить

его к стене во время игры на гуслях?). Опять Саул называет его «сын мой Давид» и они будто бы мирно расходятся.

Давид все же считает, что нельзя ему оставаться в Иудее. Он ушел к Аахусу, царю Гефскому, у которого однажды уже был. Но теперь безумцем не представился, на воротах не чертил, слюны в бороду не пускал. Со своим отрядом в шестьсот человек поступил к нему на службу.

Делал набеги на гессурян, герзеев и амаликитян, «не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин» – разорял и южную часть Иудеи. (И все то же: острием меча, острием меча.) Царь Анхус, в здравомысленности своей, полагал, что теперь Давид уже верный раб его: никогда не простит ему Иудея этого острия меча. Но судьба Давида выше здравого смысла. Путь его таинствен. Не Анхусу простоватому разгадать его.

А Саул тоже несется, все вперед, все вперед. Дух мрачный и страждущий, темный и неутомимый! Жжет его огонь. Данте поместил бы его в кругу ада, но он и живя – в аду. Наваждение мучит его. Он согрешил, ослушался Бога. Но признал вину. Однако покаяние не принято. Давид тоже грешил, и много. Пламеннее ли взывал, глубже ли терзался? Более ли связан с Богом, никогда не порывая с Ним? Лучше ли Саула слышит Бога и Бог лучше ли слышит его?

В филистимской войне Саул просит Бога дать ответ о будущем. Бог молчит. Саул покинут. Он делает то, чего никогда бы не сделал Давид: тайно, переодевшись, идет ночью к эндоррской волшебнице. Во время волхвования вдруг она узнает в нем Саула – и в ужасе. Он ее успокаивает. «Не бойся. Но что ты увидела?»

Тьма, пустыня, Саул, кутающийся в епанчу, крик совы, вой шакала. В адских испареньях зелий вызывает колдунья тень Самуила.

«Тяжко мне очень, – говорит Саул, – филистимляне воюют против меня, а Бог оставил меня и более не дает мне ответа ни чрез пророков, ни в сновидениях».

Длиннобородый, страшный Самуил выступает в туманах. Потревожен могильный сон его – слова глухи.

«Для чего же ты вопрошаешь меня, когда Господь оставил тебя и стал за соперника твоего?»

Да отнимется у него царство, отдастся Давиду.

«И предаст Господь, вместе с тобою, даже Израиля в руки филистимлян; и завтра ты и сыновья твои будете со мною».

Саул в ужасе падает на землю. А на другой день, в бою, филистимляне обратили в бегство израильтян. На горе Гелвуе пали сыновья Саула – среди них Ионафан, друг юных дней Давида.

Саул видит, что все погибло. Уже лучники тяжело ранили его стрелами. Он просит своего оруженосца заколоть его. Тот не решается. «Тогда Саул взял меч и пал на него».

II

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.
Псалом 50

Узнав о смерти Саула, Давид рвет на себе одежды, плачет, постится до вечера. Нет, он не мертвый пес, не блоха, не пеликан, а растущий и мужающий Давид, завтрашний царь, нынешний воин, победитель амаликитян и как всегда певец. Не только стенал, рвал одежды. Но и оплакал Саула в лире.

«…Горы Гелвуйские! Да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, «ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула, как бы он ни был помазан елеем».

«…Дщери израильские! Плачьте о Сауле, одевавшем вас в багряницу с драгоценностями, возлагавшем золотые украшения на ваши наряды».

Про это можно еще сказать: дань уважения помазаннику. Но Ионафан не был помазанником и давно, еще сняв епанчу свою, передав ее Давиду, как и меч, и лук, пояс, передал все права на царство. О нем слова, заканчивающие песнь, уж не внешний вопль. В них живое, человеческое сердце Давида. И насколько они проще!

«Сколько о тебе, брат мой Ионафан: ты был для меня так драгоценен; любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

Ни об одной из жен своих не обмолвился Давид словом. Соломон прославил Суламифь. Давид упоминает солнце и луну; горы у него дымятся; прыгают онагры, зайцы. Все он прижимает к сердцу: море и долины, львов и аистов. И нигде нет женщины. Но вот Ионафан: этот выше всего. «Любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

И все-таки идола из любви земной никогда не делал Давид. Ионафан был ему весьма «драгоценен», но «превыше» всего Бог. С Ним он вышел, с Ним, никогда не отвращаясь, продолжает путь. Смерть Саула возводит его на ту высоту, которая была указана помазанием Самуила – тайным, мистическим. Теперь начинается новое.

Как поступать, оставшись без соперника? Что делать? Опять обращение к Саваофу: «Вступить ли мне в какой-либо из городов Иудиных?» – «Вступи». Давид хочет узнать, куда именно. Ответ точный: «В Хеврон».

Хеврон южнее Вифлеема, близ дубравы Мамврийской, где Бог явился некогда Аврааму, в знойный полдень. Получив повеление остановиться там, Давид как бы приобщался к великому древу народа еврейского. Туда пришли к нему «мужи Иудины» и помазали на царство – теперь уже открыто – над коленом Иудиным. Давиду исполнилось тридцать лет.

* * *

Еще во время странной борьбы своей с Саулом взял он себе двух жен: Ахиноаму израильтянку и Авигею, жену Навала. Обе кочевали с ним по пустыням и горам Иудеи, попали однажды в плен к амаликитянам – делили все тягости его неверного существования. Мелхолы же с ним не было. Ее задержал Сеал. И выдал замуж (вторично) за некоего Фалтия, сына Лаиша из Галлима.

Кто был Фалтий (или Фалтиил) этот, как жила с ним Мелхола – неизвестно. Она является вновь лишь по воцарении Давида в Хевроне.

Тут у него уже не две жены, а шесть. Все они рожают ему сыновей, одна из них – Авессалома.

Но с домом Саула война продолжается, явно с перевесом на стороне Давида. И вот, вдруг Давид требует возвратить ему Мелхолу. Условие принято: «Тогда Иевосфей послал взять ее от мужа ее Фалтиила, сына Лаишева. И пошел с нею муж ее, и не переставал плакать о ней до Бахурима; когда же Авенир сказал ему: поди, возвратись, то он возвратился». Кто был этот Фалтиил, до Бахурима оплакивавший свою любовь, мы не знаем. Но вот Священная Книга запечатлела его горе в трех строках, и через три тысячи лет живы три строки.

Мелхола же вновь у Давида, но не как юная царевна при герое-пастухе и музыканте и не как спасительница, а как добыча царя Иудейского.

Скоро Давида признали и другие колена Израилевы, пришли, поклонились – соперников у него больше не было. Он царь не только Иуды, но и Израиля.

В Хевроне Давид не остался. Недалеко, к северу, был небольшой город, принадлежавший племени иевусеев. Он лежал на холме Мориа, на том месте, где некогда Авраам чуть было не принес в жертву Богу сына своего Исаака. Холм влек к себе Давида – не заветом ли того безраздельного подчинения, которое было на нем явлено? Иевусеи думали, что Давиду не взять

их: хромые и слепые отразят его. Но они ошиблись, Давид именно взял крепость иевусеев Сион и поселился в ней, укрепил ее, положил начало городу, в котором чрез тысячу лет Спаситель взошел на Голгофу. Сквозь облака Ветхого Завета вновь тянет, тянет Давида к Новому.

Это не значит, что в Иерусалиме начал он жизнь новозаветную. Всюду у него два направления: прежнее, ясное, в чем он родился. И лишь пробивающееся новое.

Лишь смутным наитием чувствует он его, а живет в прежнем. Но не с тем великим спокойствием, как Авраам. «Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Авраам совершенно целен и вполне первобытен. Он не может ничем терзаться. Это – море, горы, ветер. Для него трагедии нет. Он как бы не отделен от стихий. Давид же отравлен – первый человек нового времени.

По внешности все в Иерусалиме устраивается по-прежнему: более могущественен царь – более может взять себе жен. Давид и взял, и жен, и наложниц, они рожали ему и сыновей, и дочерей.

Он живет теперь в новом доме, выстроенном из камня и кедровых деревьев, присланных царем Тирским. Воюет удачно и отражает всегдашних врагов, филистимлян. Чувствует, что теперь царство его прочно, благословлено Богом. Но Ковчега Завета в Иерусалиме еще нет. Давид решил перевезти его туда из города Ваала, из дома Авинадава.

Первое путешествие кончилось неудачно. Хотя народ и сам Давид «ликовали пред Господом» с кипарисовыми ветвями, цитрами, гуслями, тимпанами, бубнами – очевидно, пели и плясали, но произошло несчастие: «около гумна Нахона» волы неловким движением едва не опрокинули колесницу. Оза, сын Авинадава, сопровождавший Ковчег, подхватил его, стараясь поддержать. Но был убит на месте: не может смертный своевольно прикасаться к Богу!

Давид испугался. Ковчег отправили к гефянину Аведдару и лишь через три месяца решились вновь за него взяться.

На этот раз со всеми предосторожностями несли на руках. Чрез каждые шесть шагов Давид приносил в жертву «вола и откормленного быка»: все обошлось благополучно, Ковчег занял свое место в Скинии Иерусалима.

Давид же «скакал изо всей силы пред Господом», а «одет был в льняной ефод» – видимо, впал в блаженное исступление, свойственное ему. Раньше являл себя поэтом, музыкантом, воином. Перед Анхусом изображал умалишенного. Теперь всенародно, но уже искренно, выставлялся танцовщиком, безумствующим во славу Божию: так страшен, грозен Ковчег, так трудно было его доставить, но вот теперь он здесь, в Скинии, – надо же возблагодарить Господа.

Из окна видела все это Мелхола. Вероятно, очень уж странное, дикое было в скакании Давида – вот в каком виде тот, кого она некогда полюбила! И Мелхола, царская дочь, «презрела его в сердце своем».

Может быть, «презрела» и раньше, когда он покинул ее, спасшую ему жизнь, променял на одиннадцать жен и неведомое число наложниц, теперь привел сюда насильно, чуть ли не как пленницу. Любовь ее не нужна уже: она полураба, полузаложница. Но Саулова кровь неукротима. Какая из одиннадцати жен осмелилась бы сказать ему то, что сказала Мелхола?

«Как славно вел себя сегодня царь Израилев, выставив себя ныне напоказ пред рабынями слуг своих, как выказывает себя какой-нибудь плясун!»

Три тысячи лет прошло, а все плачет Фалтиил по своей любви, все гневается Мелхола: не прощает оскорбленной любви, гарема, поругания. «Боже! Ты знаешь безумие мое, и вины мои не сокрыты от Тебя!»

Это слова Давида. Много и долго будет он еще взывать о «винах» и «безумиях» своих пред Богом. Но Мелхоле, так удивительно ему сказавшей, отвечает иначе. Холодно и недобро, но как равной. Он «веселился» пред Богом, который предпочел его, Давида, ее отцу и ее дому. «И если я еще более того умалюсь и смирюсь в глазах моих: все-таки и среди рабынь, о которых ты говоришь, и среди них я буду уважаем».

Всегдашнее у Давида: для Бога умалиться и смириться. Он, конечно, юродствует пред Ним. Но нет ли и тут связи с будущим?

Самые слова «умалюсь», «смирюсь»… так ли далеки от знаменитого: «Многие же будут первые последними и последние первыми».

Библия берет сторону Давида, против Мелхолы: «И не было детей у Мелхолы, дочери Сауловой, до дня смерти ее», – голос земли Исаака и Иакова.

* * *

Летом в Палестине необыкновенный зной. Спать в домах невозможно – устраиваются на плоских кровлях, под звездами. Так было и при Давиде, и при Христе.

В персиковом рассвете видел Давид со своей кровли в Иерусалиме лиловую дымку Моавитских гор, Масличный холм, слегка всхолмленную равнину к Вифлеему, где прошло его детство, юность. Кипарисы, оливки, виноградники со сторожевыми башнями, овцы на пастбищах, голубой дымок костра пастушьего.

Пахло, наверно, все тем же: козьим сыром, укропом, свежестью и росою пустыни.

У Давида хороший дом, но еще не дворец Соломона, просто дом, с хозяйством и службами, основательно строенный. Сам он уже не так молод: войну ведет полководец его Иоав. А царь прогуливается утром и вечером по кровле дома. И вот раз, под вечер, увидел он моющуюся женщину, очень красивую.

В том, что он захотел Вирсавию, нет ничего удивительного. Мало ли кого он хотел. Но тут все слагалось особенно. У Вирсавии был муж Урия, служил в войске Давида, у Иоава. Давиду Вирсавию привели, он сблизился с ней, и она забеременела. Он послал в войско за Урией. Тот явился. Давид расспросил его о войне и отправил домой. Урия не пошел. «Ковчег Божий, и Израиль, и Иуда находятся в кущах, и господин мой Иоав, и слуги государя моего стоят станом в поле; могу ли я идти в дом мой есть и пить и спать с женою?»

Может быть, чувствовал он дома неладное. Во всяком случае ответ его безупречен. Он остался со слугами царя. Так же поступил и на другой день.

Тогда Давид отослал его назад в войско, а Иоаву написал, чтобы этого Урию поставить в самое опасное место.

Все так и вышло, как царь хотел, – так, да не так: Урию, разумеется, враги убили, Давид тут будто бы и ни при чем, Вирсавию свободно берет в жены, но не напрасно связан он с Богом. Не освободиться и не спрятаться! Никто не знает, а Бог знает. От Него не уйти. В войнах Давиду случалось – и сколько раз! – поражать «острием меча». Не оставлять в живых ни мужчин и ни женщин, ни ослов, ни волов, но то расправлялся он с врагами. Чаще всего – с врагами Самого Бога. Моавитян, победив, разложил по земле, «размерил их веревкою, и две части из них отмерил на убиение, а одну часть оставил в живых». Это все ничего. Война так война. Довелось и Ахимелеха обмануть и подвести – там он шел к цели, не им поставленной. *Пришлось* так поступить! Но вот здесь: предательски, исподтишка умертвить верного Урию, чтобы завладеть его женою… «Дурен был в очах Господа поступок, который совершил Давид». До сих пор Бог говорил с ним прямо, без посредников. Теперь нечто встало между ними. Бог замолчал.

Пророк Нафан послан Им к Давиду, как некогда Самуил к Саулу.

Нафан рассказывает ему историйку: в городе жили богатый и бедный. У богатого сколько овец и крупного скота. У бедного – только одна овечка. Он ее вырастил вместе с детьми. «Один кусок с ним ела, из чаши его пила, на груди его спала и была для него, как дочь».

К богатому пришел гость. Богатый пожалел свое добро, взял овечку у бедного, зарезал, приготовил ее для гостя.

Давид вознегодовал. «Повинен смерти» сделавший это. «Ты этот человек», – отвечает Нафан. И Давиду выносится приговор: за то, что тайно он делал дурное, наведется на него бедствие явное, из его же дома. Очень он пострадает. Взяты будут и жены его, соперник будет спать с ними «пред этим солнцем».

Давид признает: «Согрешил я пред Господом». Саул в свое время тоже сознался. Бог его не простил. Давида наказывает, но от Себя не отталкивает – путь Давида иной.

Наказание же начинается тотчас. По грозному духу Ветхого Завета переносится сначала на невинного младенца: сын Давида и Вирсавии, как бы символ греха, заболевает. Давид мучается, постится, проводит ночи лежа на земле. На седьмой день ребенок умер. Слуги, видя горе Давида, боялись даже сообщить ему об этом. Оказалось – напрасно.

Как Давид любит жизнь, живое! Мальчик был жив, он терзался за него, искренно пытался Бога умилостивить постом, молитвою. Молитва не услышана – значит так надо. Свершилось. Взор его опять направлен на живое. «Могу ли уже я возвратить его? Я пойду к нему, а он уже не возвратится ко мне». А жизнь есть что? Пламя! Умер сын, пылай далее. Осталась прекрасная Вирсавия. Что бы ни говорить, а она прекрасна. И «утешил Давид Вирсавию, жену свою, вошел к ней, спал с нею». Одна жизнь ушла, другая появится. Был грех, но вот теперь Сам Господь принимает их союз. Вирсавия вновь зачинает. И какой рождается у нее сын! Соломон, будущий царь, созидатель храма. «И Господь возлюбил его» – Бога как будто радовало в Давиде его жизнелюбие.

Это не значит, что он уже прощен. Но безнадежности нет. У него не отымается царство, оно за ним даже закрепляется, передастся в род. Искупить же содеянное еще предстоит.

* * *

Борьба с Саулом, «скитания в земле безводной» дали одну часть псалмов. Вирсавия и убийство Урии – другую.

В преддверии знаменитого пятидесятого псалма сказано: «Когда приходит к нему пророк Нафан, после того, как он вошел к Вирсавии». Далее и идет вопль: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей».

Грех, двойственность – в самом корне бытия, в глубине человека. Нет такого, кто хотел бы быть преступником. А преступники все. Через тысячу лет после Давида скажет апостол: «Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, а что ненавижу, то делаю». Вовсе Давиду не нравилось убивать Урию. Но Вирсавия нравилась больше, чем не нравилось убийство. И в вечность летят слова из-под гуслей, увеселявших некогда Саула: «Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну»; «Окропиши мя иссопом и очищуся: омыеши мя и паче снега убелюся». Жить в грехе – значит дышать зараженным воздухом, задыхаться и томиться, как Саул. Вот, поэтому: «Слуху моему даси радость и веселие» – не прожить ведь без радости. Но для этого нужно, чтобы Бог создал «сердце чисто» и не отверг от Себя. «Духа Твоего Святого не отыми от мене». Он же сам, грешный и последний Давид, уже «умалился» и «смирился», поэтому и надеется на милость Божию, ибо «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит».

По духу смирения и сокрушения своего и вошел этот псалом целиком в христианское богослужение – тысячи раз повторяет его Церковь, тысячи раз повторяет и отдельный христианский человек в общении с Богом. Пятидесятый псалом есть дверь к Богу.

Из сыновей Давида выдавался Авессалом. Был он знаменит красотою, как в молодости и отец. А особенная слава – волосы. «И когда он стриг свою голову (а стригся он из года в год, так волосы тяготили его), то остриженные волосы с головы его весили двести сиклей царского веса».

Этот Авессалом рано начал проявлять себя: убил брата, вынужден был бежать в Гессур, там пробыл несколько лет, но, прощенный Давидом, вернулся в Иерусалим. Сначала отец не принимал его, наконец допустил и к себе. Что-то нравилось ему в Авессаломе, может быть, напоминая собственную молодость, – красота, смелость, бурный нрав?

Авессалом завел себе колесницы с конями, пятьдесят скороходов – видимо, зажил роскошно. Никак не скажешь, чтобы он любил отца! Действовал даже против него: по утрам перехватывал просителей у дверей дома Давида, льстил им, убеждал, что у царя нет праведного суда (а вот у него, когда он получит царство, будет). К славе, власти явно влекло его. И еще при жизни он поставил сам себе памятник.

Кончилось все это открытым восстанием. Авессалом ушел в Хеврон и там объявил себя царем Израильским. Давид, начавший с победы над Голиафом, всю жизнь воевавший, поражавший «острием меча», не оказал сопротивления. Со слугами своими и всем домом вышел пешком из Иерусалима. Только жен оставил – стеречь добро. Священники несли Ковчег Завета. Ратники гефские и палестинские сопровождали его; царь перешел через поток Кедрон, направился к пустыне. Тут на пути его Масличная гора, Елеонская, та самая. Гефсимании еще нет, но оливки при Давиде могли быть и те, под которыми позже молился Спаситель, – оливковое дерево долговечно.

Давид шел босой, с покрытою головой, и плакал. И вокруг все плакали – в бедствии своем Давид не был так одинок, как Иисус. Спустившись несколько с вершины в направлении пустыни Иудейской, издавна ему знакомой, он встретил даже знак внимания и любви: Сива, слуга Мемфивосфея, сына Ионафанова, встретил его с двумя ослами, на которых навьючено было двести хлебов, сто связок изюму, сто караваев сушеных плодов и мех вина – все это для скитания царя в пустыне. Сива и объяснил: пусть царь кормится, вином утоляет жажду, а на осле может ехать. Так и вышло. «На осляти» въезжал Спаситель в Иерусалим перед Голгофой. «На осляти» же Давид с горы Елеонской к своей Голгофе, в изгнание. Стенал на горе стенаний, получил от Сивы каплю утоления, а далее, в Бахуриме, принял и поношение. Сквозь библейское повествование так чувствуется этот Семей «из родства дома Саулова» – все еще отголосок прежних распрей. Яростный облик тех же иудеев, что Пилату кричали: «Распни его!», при виде апостола Павла раздирали на себе одежды и «метали пыль в воздух». Семей шел рядом с караваном Давида и бросал в царя камни. Ругал его, именно шел и «лаялся», так и этак обзывая свергнутого владыку: кровопийцей, палачом, преступником. Когда один из приближенных сказал Давиду: «Зачем ругает этот мертвый пес государя моего, царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову», – Давид предварил позднейшее: «Вложи меч твой в ножницу». Он не прибавил, что «взявший меч от меча погибнет», но слова его все равно остались золотом.

«Пусть ругает: может быть, Господь повелел ему обругать Давида».

Да, ответ за Вирсавию, Урию.

«Вот, и сын мой, который произошел из моей утробы, посягает на жизнь мою; тем более может это вениаминянин. Оставьте его, пусть ругает: верно, Господь повелел ему».

Давид, в ущербе своем, продолжал путь. А Семей шел рядом по скату горы, «и все проклинал его, бросал камнями сбоку и осыпал его пылью».

Так удалился Давид в пустыню, Авессалом же занял Иерусалим. Хитроумный Ахитофел, бывший ранее при Давиде, а теперь перебежчик, посоветовал Авессалому так: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил для присмотра за домом». Расчет будто бы правильный: Авессалом станет «омерзительным» отцу, примирение невозможно, и это «укрепит руки» сторонников Авессалома.

Авессалом так и сделал. На той самой кровле, с которой любовался Давид окрестностями Иерусалима и Вирсавией, поставили палатку. «И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля».

* * *

Давид, очевидно, чувствовал, что все это бедствие есть расплата. Он ее претерпевал, но и верил, что царство у него не отымется. Путь голгофский проделал, поношения принял, в пустыне кочевал, как во времена борьбы с Саулом, сушеными плодами Сивы питался. Но рук не полагал. Наступил час – начал действовать.

Можно думать, что пока Авессалом сидел в Иерусалиме, занимаясь наложницами отца, упиваясь «вином и сикером», Давид не терял времени: устраивал свое войско, сзывал сторонников, внезапно переправился чрез Иордан и засел в городе Маханаиме. Авессалом наконец (сильно опоздав: это и дало возможность Давиду окрепнуть) двинулся также в Заиорданье. Давид разделил свои силы на три части, под начальством Иоава, Авессы и Еффея гефянина. Хотел идти с ними сам, но народ потребовал, чтобы он остался в городе и оттуда помогал им: боялись, что, если убьют царя в сражении, это сразу решит дело, – может быть, был он уже и не так крепок, как раньше.

Давид остался. Военачальникам же дал приказ: пощадить юношу Авессалома.

Авессалом со своими израильтянами стоял где-то недалеко от Маханаима: по-видимому, близ «леса Ефремова». Вряд ли лагерь его хорошо охранялся. Вероятно, Давид знал об этом и не напрасно разделил свои силы натрое. Сражение произошло, по Библии, «в лесу Ефремовом». Не указывается ли здесь, однако, заключительная его часть – бегство израильтян Авессалома?

Не напали ли на них внезапно, с трех сторон, полководцы Давида где-нибудь около леса, а в лесу уж избивали бегущих?

Сам Авессалом скакал сквозь чащу на своем лошаке. Со времен ученических врезается в память: Авессалом, зацепившийся длинными своими волосами за ветви дуба, повис на них – лошак же выскочил из-под него. Иоав не послушался Давида, всадил Авессалому в сердце три стрелы. Израильтяне оказались совершенно разбиты коленом Иудиным.

А Давид сидел между двумя воротами у входа в Маханаим. Ждал исхода боя. Был вечер. Сторож ходил по кровле над стеною, карауля вестника. Удлинялась тень сикоморы, под которою сидел Давид. Вот он, еще новый день его томлений и борьбы, закатный день бурной жизни… – тогда с Саулом боролся, пред которым и благоговел. Теперь с собственным сыном, которого – неизвестно за что! – так любил.

Сторож закричал: бежит кто-то!

Действительно, вестник. Добежал, поклонился царю до земли – победа. На вопрос же об Авессаломе ничего не ответил. Но вот и второй бежит, эфиоплянин. И когда у него спросил Давид: «Благополучен ли юноша Авессалом?» – тот отвечал: «Что сбылось с этим юношей, пусть сбудется с врагами государя моего, царя».

Этого-то Давид и не мог вынести. Царство, Иерусалим, дворец, жены – все возвратилось, только не «юноша Авессалом», который чуть было его не погубил.

Царь был подавлен. Поднялся в горницу над воротами и все плакал и все восклицал: «Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом! Кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»

Странная победа. Лучше бы победителю умереть вместо побежденного! Народ тотчас узнал, что царь скорбит смертельно. И возвращались в город смущенные, точно беглецы после поражения. Узнал об этом и Иоав. А царь все стонал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!»

Иоав в гневе явился к царю. «Посрамил ты сегодня лице всех слуг твоих», – Иоав совершенно прав: они спасли и самого Давида, и жен его, и дочерей его, и наложниц, а он плачет как о несчастий. «Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – ведь если бы

все умерли, и сам ты. «Теперь я знаю, что если бы только Авессалом был жив, а мы все умерли сегодня, то было бы для тебя лучше».

«Любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – не впервые священное безумие владело Давидом. Приходилось и раньше действовать против здравого смысла. Но как царь и вождь, в технике дела своего он не мог быть безумцем. И теперь внял совету Иоава («Встань, выйди и скажи что-нибудь приятное для сердца слуг твоих – иначе все они разбегутся».) Давид встал, пересилил себя, вышел к народу и сел у ворот – вновь спокойный, разумный, народу благодарный царь Давид. Все отложившиеся израильтяне перешли к нему.

* * *

«Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти», – как ни был крепок Давид, а до восьмидесяти не дожил, не вышел из меры обычного.

Вот и пришел его вечер. Все идет, как и надо. Ниже солнце, длиннее тень сикоморы, но врагов он или военачальники его продолжают поражать, восстание против него Вохора не удается. Как «сладкий песнопевец израилев» воздает он хвалу Богу за все, чем Он наделил его, а действия его странны и загадочны, иногда вызывают ужас, но, кажется, надо просто, не мудрствуя, смириться пред ними: понять то время и тех людей до конца мы не можем. Не нам разбирать грехи Давида. Мы лишь укажем на дела его. Скажем: «Значит, так почему-то надо было в его судьбе».

Три года преследует голод страну Давида. Он спрашивает Бога: за что? Ответ: за преступления Саула. Он избивал (неправедно) гаваонитян, соседей Иерусалима. Давид призывает гаваонитян и спрашивает, как загладить грех. Они потребовали, чтобы он выдал им семь человек из потомков Сауловых, чтобы они распяли их «пред Господом на холме Саула». «Царь отвечал: я выдам».

Последний отсвет юности Давида: Ионафан, Мелхола! «Скорблю о тебе, брат Ионафан: ты был для меня так драгоценен», – годы прошли, то и осталось: «Любовь твоя ко мне была превыше любви женской». Давид пощадил сына Ионафанова, Мемфивосфея, не выдал его гаваонитянам. А Мелхола? Некогда его спасшая, а потом «презревшая», посмеявшаяся над его «скаканием»?

Очевидно, она в третий раз была замужем – за некиим Адриелем, родила ему пятерых сыновей. Вот этих сыновей, как и ее сердце, не пощадил Давид. «Людей смиренных Ты спасешь», – это он сказал. «Сердце сокрушенна и смиренна Бог не уничижит». Но вот сам и отдал безответных и невинных, детей бывшей своей жены и спасительницы, на муку. «Распяли их на горе пред Господом… Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя».

В один из последних годов царствования своего Давид сделал перепись народа. Это был грех – Бог чрез пророка Гада предложил ему на выбор три наказания: семилетний голод, три месяца бегать от врагов, три дня моровой язвы.

«Тогда сказал Давид Гаду: очень прискорбно мне; но пусть я впаду в руку Господа, ибо велико Его милосердие; только бы не впасть мне в руки человеческие».

Все что угодно, только не преследования врагов! Видно, не забыть ночей в пещере Адулламской, в зимний холод, с воем шакалов, блеском дальних звезд, вечным ужасом меча Саулова!

Лучше уж голод или моровая язва. Господь скорей помилует, чем люди.

Господь послал моровую язву. От нее сразу погибло семьдесят тысяч человек.

Ангела, поражавшего народ в Иерусалиме, увидал Давид и сказал Богу: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно: а эти овцы что сделали? Пусть будет, молю Тебя, рука Твоя на мне и на доме отца моего».

Дрогнуло сердце Давидово. Как некогда Авраам не задумался принести в жертву сына, так Давид предлагает себя – хотя, конечно, мог ранее выбрать тот род кары, который не задел бы народа.

Бог сжалился и над народом, и над Давидом. Остановил Ангела смерти «у гумна Орны Иевусеянина».

* * *

Жизнь идет к концу. Давид старится, холодеет. А как любит живое, теплое! Никакие одежды уж не согревают. Тогда отыскали для него прекрасную отроковицу. Это уже не жена, не любовница. Ависага-сунамитянка – нежное пламя бытия. Отходя «путем всей земли», завещая сыну царство и мужество («крепись и будь мужем»), приникал Давид к последнему очарованию земли. Ависага ухаживала за ним, спала на его груди, юностию своею согревала его. «Но царь не познал ее».

Он царствовал сорок лет. Семь в Хевроне, тридцать три в Иерусалиме. Наследнику своему Соломону оставлял прочное царство с крепостью Сионом. Но храма Иегове не было дано ему построить.

«Странник я у Тебя, пришлец, как и все отцы мои».

Соломон не был уже странником, храм построил.

Давид прожил семьдесят лет.

III

Пробудись, слава моя; пробудись, псалтирь и гусли; пробужу я утреннюю зарю.
Псалом 57

Воззри на страдание мое и скорбь мою и прости все прегрешения мои.
Псалом 25

Сила моя! Тебе воспою; ибо Ты Бог, защита моя, милующий меня.
Псалом 58

Время течет, время проходит: Саул, Давид, Соломон.

Вот, помазал Саула Самуил, излил елей рога, дал ему Господь «другое сердце» – и оно не удержалось. Поддалось бесам. «Из глубины воззвах к Тебе» – и Саул взывал, рыдал на путях жизни. («Твой ли это голос, сын мой Давид?») Но будто проклятие над ним. И вновь, снова гонит он того, преследует, о котором уже знает, что он – Божий, ему венец, царство. Как отчаянный игрок, ставит и ставит. Чувствует, что проигрывает – удержаться нельзя: вихрь несет, в тоске, мраке. Первобытно все в Сауле, целина, никаким плугом не оранная. Слепая сила, как у Самсона. Копье его свистит, не убивает: ни Давида, ни Ионафана. А искра сердца (к Богу) как бы недостаточна: не прерывает тучи, все над ним, в нем бушующей. Не прорваться вверх. Но спуститься в преисподнюю. Не напрасно он в пустыне, у колдуньи, ночью, в темноте, муке: занесли бесы вовсе вдаль.

И могильный призрак Самуила, потревоженная тень в Эндорре! «Завтра ты и сыновья твои будете со мною» – завтра бои с филистимлянами; погибает Саул с Ионафаном. Плачьте, дщери израильские.

И Давид пел и плакал. Как же не оплакать Саула?

Все это было при Давиде. А вот что после: премудрый Соломон, «возлюбленный» Богом, наследник царства. У Саула отымается, Соломону само идет в руки. Саул неудачник, Соломон удачник. Слава, почет, богатство. И сколько даров излито! Правитель и судья, поэт, философ, собиратель и строитель – все хорошо, все благополучно. Но… все «суета сует». А что ни взять во дворце или храме – золотое. Херувим, пальмы и распустившиеся цветы, цепь и внутренность храма – все из золота. Во дворце трон слоновой кости обложен чистым золотом. И сосуды для питья золотые: серебро ни во что не считается.

Сколько всего! И для чего все это? Значит, для чего-то нужно. «Сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч всадников», «семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменотесов в горах».

Жен – только главных: семьсот. Наложниц триста. Но: «Все произошло из праха и все обратится в прах».

«Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли кверху и дух скотов сходит ли вниз, в землю».

Вот она, мудрость Соломона! С нею тяжко восседает он на троне из слоновой кости, как златой кумир, – старый и уже усталый даже и тогда, когда не стар.

Между Саулом и Соломоном Давид. Одному – странный враг, другому – отец. Этот не стар, даже когда отходит «путем всей земли» (телом холодеет, но завет сыну: «Крепись и будь мужем»). Не напрасно изобразил его Мике ль-Анджело юношей.

Его Давид, разумеется, только еще певец, Орфей, воин и победитель Голиафа. Давида борений, падений и прегрешений, как и Давида стенаний о грехах, выразил уж не мрамор, но псалмы и узор жизни.

Но и здесь он всегда молод. Он не может быть стар потому, что всегда раскален. Он не прозябал – пылал. И когда побеждал, и когда грешил. Когда каялся и когда, низвергнутый, брел под семеевой бранью в изгнание. И когда юродствовал, и когда скакал пред Господом, и когда притворялся безумным. И когда плакал, прощаясь с Ионафаном, и когда рыдал по Авессалому, и когда любил Вирсавию. Священный ветер Ветхого Завета, сквозь чащи мчащийся к райским рощам. Он один в его время чувствовал новый мир. «Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – с яростью упрекает его ветхозаветный Иоав.

И да, и нет. Необычны его чувства. Не то, чтобы он всегда ненавидел любящих. Но не всегда ненавидел врагов. «Кроткие наследуют землю». «Близок Господь к сокрушенным в сердце и смиренных духом он спасает». Кто первый разбил «око за око и зуб за зуб»? Царь Иудейский Давид.

«Исповедаюсь в преступлениях моих пред Господом» – никогда Давид не будни и не повседневность. Не спускал он глаз с Солнца Мира ни тогда, когда бедствовал в пещере Адулламской, ни на «скалах горных коз», – нигде вообще в земном своем странствии. Бог был и во взоре его, и в сердце. Был, когда он делал доброе. Когда же делал злое, тоже не мог от Него оторваться, хотя и бывал ослеплен: тем острее стенание. Не мог безысходно спускаться в отчаяние, богоотступничество, как Саул (Давида Бог любил, Саула нет – вот это тайна). Не мог и, как Соломон, впадать в оцепенение роскоши, наслаждений, славы. Не видишь Давида в дремоте.

В страшной силе жизни, жадности к ней путь его все же к Царствию Божию. Оттого он противоречив, пестр, с лепите лен. Но и вечно юн. Давид преобразует, дает лик человека вообще, Адама, трепещущего мощью и рожденного во грехе, с вечной тоской по безгрешности.

«Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его» – войдешь в храм, голос Давида раздается тотчас, будто и не было трех тысяч лет.

«На всяком месте Владычества Его благослови, душе моя, Господа».

Алексей Божий человек

I

Евфимий был знатный римлянин, полный и благодушный. Жил широко в великолепном доме у подножия Авентина. Любил гулять в своих садах, где кипарисы окаймляли Тибр, беседовать с философами, в жару сидеть под портиком и слушать флейту, запивая ледяной водой щербет. Все делалось вокруг легко и просто: кто-то подавал ему сандалии, застегивал одежду, накрывал на стол. И сами появлялись вина.

Тридцать лет правила домом его жена, белая, красивая и добрая, такая же дородная, почтенная, как муж. Сотни рабов прислуживали ей. С ними обращались хорошо. И им завидовали рабы других господ.

Каждый день Евфимий выставлял несколько столов для бедных – вдов, странников, детей, убогих. Правда, было это вблизи кухни и далеко от жилых покоев. Иногда он, улыбаясь, важно и приветливо проходил мимо обедающих, и те славили его. В другие дни, когда они слишком шумели, а он хотел читать возвышенное или поэтическое, то удалялся в сад, к Тибру, где у него был выстроен небольшой домик. Здесь шумел вечным, милым шумом Тибр. Евфимий безраздельно отдыхал за чтением от своей роскошной жизни.

Он полагал, что просвещение – вещь величайшая. И к его сыну Алексею приходили ежедневно риторы, грамматики, философы. Диакон Петр из церкви св. Пуденцианы, огромный и лохмато-добродушный, обучал его катехизису.

Алексей не был красив, как мать, и крупен, как отец. Казался даже слабоват. Не совсем правильная голова с огромно-выдававшимся затылком. Глаза шире расставлены, чем надо, серые, с тонкими веками, иногда некрасивые, иногда вдруг заливались светом и воодушевлением. А улыбался он застенчиво. К философии и священной вере имел крайнее влечение. Особенно был им доволен высохший, как обезьянка, грек философ Хариакис и диакон Петр.

– Не утомляй себя, – говорил отец. – Жизнь длинна. Посмотри на меня. Мне пятьдесят, а я молод, потому что никогда не признавал излишеств. Во всем мера. В этом мудрость и залог здоровья, силы, счастья.

Алексей слушал почтительно. Не возражал и занимался своим делом с твердостью, восхищавшей Хариакиса.

– Ах, – говорил тот, дыша чесноком, – что за мальчик! Родился философом. Если бы не дурак Петр… но что смыслит этот невежда?

Хариакис с высоты своего рваного плаща и греческого нищенства не выносил римлян.

– Юноша, – обращался он к Алексею, – в тебе пламя божественного Плотина! У тебя затылок философа. Но увы, тебе надлежит жить, прости меня, в этом мерзейшем городе, рядом с которым наша Беотия или Коринф[1] – столицы. Многого я от тебя ожидаю, но запомни: мир дряхл и, Рим твой, хоть и груб, но стар и развращен, клянусь лучшей луковицей моего прежнего огорода в Пиргосе! Натащил себе богатств со всего света, сел на них, икает, пьянствует и думает: я лучше всех. А вот я, Аристид Хариакис, поклоняющийся Плотину, я, кого вчера рабы Рутилия Фигула чуть не избили за то, что я нечаянно задел плащом, проходя, их господина, я кричу: довольно, суд идет! Довольно преступлений и насилий, жадности, богатства, зверств. Так сказано и в вашей христианской книге[2], где пророчество о городе. Прибавлено, что это Вавилон. А я тебе говорю: Рим! Ах, что за люди! Что за жизнь!

---

[1] *Беотия* – область в Средней Греции со столицей Фивы; Коринф – греческий город-порт на полуострове Пелопоннес.

[2] Предсказание о том, что «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным» падет, содержится в Библии в Откро-

Хариакис завернулся в плащ свой рваный и торжественно вышел. Он был такой маленький и тщедушный, что его можно было бы, как игрушку, положить в карман, но надувался величаво и, вздыхая по своему огороду в Пиргосе, шел бродить в сумерках по темным уличкам у театра Марцелла, где слонялись подозрительные личности. С ними заводил он шашни.

И в вонючих кабачках запивал козий сыр вином, громил богатство, роскошь и пресыщенность. Иногда надоедал, и его били.

II

Чтобы как следует понимать жизнь, Алексей был еще молод. Он слишком мало ее знал. Но слишком резко из нее выделялся, как выступал его затылок из числа других. Он очень любил мать и отца, но ему скучно было бы так важно, благодушно шествовать под портиком или смотреть, как под надзором матери ключницы складывают в кладовые тонкие полотнища холста.

Он лучше и счастливей чувствовал себя на убогом холме Эсквилина, в смиренной церковке св. Пуденцианы на вечерне или за стенами Рима нежной зарей в виноградниках и кипарисах катакомб. Кто-то был с ним, светлый и таинственно-великий. Свечи золотистее теплились в церкви, обольстительней алела тучка на закате. Возвращался он легким и радостным.

– Хороший юноша растет у нас, – говорил жене Евфимий, – но слишком он далек от жизни.

Аглая успокаивала:

– Женится, будет семья, все наладится.

В дородности и красоте своей она считала, что жена, дети, спальня и столовая все одолеют.

И принимала меры.

Цвели персики и миндаль, по голубому небу римскому неслись пухло-рваные, белые облачка, когда в портике своего сада, в тонком узоре теней от молодых померанцевых деревьев увидал Алексей Евлалию. Девушка шла с матерью и Аглаей. Была довольно высока, широкоплеча, ночной черноты волосы, синие глаза. Держалась строго и покойно. Алексей рассмотрел крепкий очерк лица с завитками волос, глубокую впадину между ключицами, несколько полные и тяжеловатые ноги.

Он ничего не нашелся сказать ей. Видел только, как на него поднялись два синих глаза с оранжевым ободком на зрачке и посмотрели внимательно. Сладкой прохладой на него пахнуло. И сердце слегка поплыло.

Вечером в церкви св. Пуденцианы он был особенно счастлив. Даже когда закрывал, молясь, тонкие веки, что-то сияло сквозь них.

Дома его подозвал отец.

– Нравится тебе эта девушка?

Алексей слегка побледнел. Опустил глаза, пробормотал что-то невнятное.

– Ну вот, – говорил позже, в спальне, укладываясь на ночь, жене Евфимий, – видишь, я никогда не ошибаюсь. Разве не говорил я, что Евлалия непременно ему нравится?

И покойный, довольный, лег на свое ложе – многие годы делил он его с Аглаей. Приятно было, что Алексею нашел тоже жену, и хорошую. Оставит ему состояние, дом. Жизнь его будет приятна, легка, как его собственная.

Евлалию также спросила о женихе мать. Та немного задумалась и вздохнула.

– Да, это странный… и необыкновенный юноша.

вении святого Иоанна Богослова (Откр. 17–19).

III

По вечерам, перед сном, Алексей молился. Призывал, как с детства был приучен, силы добрые на отца, мать, себя, близких, не забывал даже маленького, сморщенного Хариакиса. Поминал умерших. И заканчивал молитвой о Риме, о своем народе. Теперь ко всему этому прибавилось имя Евлалия – тихо и с нежностью.

Как было принято, они видались редко, мало и говорили. Он хранил все-таки влажное прикосновение ее руки, сдержанно-ласковый блеск глаз, запах лаванды, отпечаток сандалии на песке дорожки, черный крутой локон над ухом. Узнавал ее издали по широковатым плечам, твердой поступи. Ему казалось, что в ее синих глазах с оранжевым ободком – прохлада, чистота, ласка.

И он знал уже, что она будет его женой. Это волновало – он закрывал широко расставленные свои глаза с тонкими веками, как у ребенка.

Хариакис заметил, что Алексей не в себе. Их уроки кончались. Грек был печален.

– Женят тебя, засядешь в спальню, дети пойдут… Нет, если быть философом, то домашние дела побоку. Вот и я… Ах, отчего я не у себя в Пиргосе, я ходил бы, окруженный прекрасными юношами, мы рассуждали бы о Порфирии, Плотине, Ямвлихе, ели бы чудесные фиги и гранаты… Ты имеешь вид сонный и отсутствующий, я знаю, о чем ты думаешь…

Алексей медленно открыл глаза, точно вышел на поляну. И потер лоб.

– Учитель, не говорите так.

Его стеснял теперь сморщенный грек. И он даже рад был, что они расстанутся. Что-то набиралось и бродило в нем. Хотелось одиночества. Он чаще выходил на берег Тибра, смотрел, как солнце нежит камыши, блестит в струях, – волнение его вздымало.

Особенно было оно сильно в день свадьбы. Алексей мало понимал, что происходит, слушался родителей, в тумане делал все, что полагается, и сказал «да» в церкви, и отсутствующим взором видел, как надел кольцо священник на знакомый твердо-розовый палец Евлалии, как дышала ее грудь, вздрагивали ресницы. Необычайный, матовый блеск был разлит по ее лицу. Что это значило все? Что происходило?

Свадебный обед очень затянулся. Евфимий был доволен, важно, благодушно угощал. Все шло прилично. Только Хариакис на дальнем столе, у выхода, перепился, и его пришлось вынести. Он ругался и обозвал всех мошенниками. Но в шуме, общем смехе это мало кто заметил.

Когда Евлалия с подругами ушла переодеваться, Алексей поднялся, незаметно вышел. Удалился в узкую аллейку померанцев, буксов стриженых, зашел в дальний угол сада, к домику отца и кипарисам перед Тибром.

Трепетаньем света, легкого и зыбкого, знойно-прозрачного, был полон воздух. Сверкали струи в Тибре. Камыши клонились и вздымались. И струило над домами, и дворцами, и садами Рима. Кое-где плавился золотой шпиц. Ослепительный послеполудень…

Алексей остановился. Загляделся на двух бабочек, белую, желтую, круживших над шиповником, ветер то наносил, то вновь откидывал их. Потом взор отошел на мутно-златистую рябь реки, ерошившуюся чешуей, поднял глаза, и точно воздух стал еще светлее, вокруг все наполнялось ослепительным сиянием. Знакомое, то чувство, что испытывал и раньше, но стократ сильнее, залило его. Он перехватил грудью воздух. Закрыл глаза и в светлой мгле с медленно плывущими точками так ясно ощутил, что с ним и в нем Тот, Некий, кого знал и ранее. Мгновение – показалось, он сейчас уж перейдет, не выдержит. Но стало легче. Он открыл глаза. В голове шум. Те же кипарисы, Тибр, камыши, свет, жара, лишь он другой.

Он медленно шел назад, к гостям. И когда проходил мимо любимого своего фонтана: два обнявшихся мраморных ребенка, из губ их струйками бежит вода, – все показалось дальним, точно бы подводным.

Близко к полуночи Алексея привели в спальню. У изголовья постели, убранной красными гвоздиками, курились, потрескивая, голубоватые огни. Из другой двери вошла Евлалия. За ней был слышен шепот, тихий смех подруг. Потом все смолкло. Они остались одни.

Евлалия села на постель, сложила руки на коленях и не подымала глаз. Тонкая жилка билась в углублении между ключицами.

Алексей подошел к ней, опустился и поцеловал руку. Полная нагая нога в сандалии чуть не касалась его губ. Евлалия покраснела. Подняла руку и погладила огромный затылок Алексея. Мучительно прекрасна была она для него.

– Лучше тебя никого нет, – сказал. – Нет и не будет.

И тогда увидел ее глаза. Психея с нежностью, сквозь синеву, смотрела на него.

– Но я не могу с тобой остаться. Я должен уйти отсюда.

Психея подняла слегка голову. Широкие ее плечи выразили недоумение.

– Прости меня, – продолжал Алексей. – Быть может, я и оскорбил тебя. Но я не понимаю. А теперь Бог позвал, и я иной. Я люблю тебя, но не могу быть твоим мужем. Я не буду ничьим мужем. Я ухожу.

Психея удалялась, а Евлалия бледнела, крепче твердой рукой сжимала одеяло. Долго в молчании смотрели друг на друга. Затылок Алексея вырастал в глазах ее на фоне света, голубовато-золотевшего. Вдруг что-то дернулось в ее глазах. Точно сорвалось с места.

– Я всегда чувствовала… думала… а теперь знаю…

Алексей снял обручальное кольцо и отдал ей.

– Храни его пока. Так надо.

Перекрестил ее, поцеловал в холодный лоб, точно вонзил кинжал, и вышел. В поясе его было золото и ключ от потайной калитки вблизи Тибра. Зачерпнул родной его воды, освежил лицо и в тишине, при отдаленном гуле Рима засыпающего, с отсветами зарев зашагал мимо Тестаччио и пирамиды Цестия. Скоро только кипарисы у ворот, как часовые, остались на начавшем светлеть небе от великого, взрастившего его Рима. Да собаки лаяли. Пели вторые петухи.

IV

Хозяин судна, на котором Алексей из Остии отплыл в Малую Азию, рыжебородый купец в кольцах, завитой и нарумяненный, хорошо расторговался и был весел. Целый день пил вино, хохотал, икал, спускался в трюм – любил собственноручно хлестать прикованных к веслам гребцов. Потом запирался у себя в каюте с новокупленной наложницей. Матросы тоже были полупьяны. Не стесняясь, предавались грубому бесчинству.

Алексей безвыходно сидел на носу, на груде старых мешков. От них пахло еще пшеницей. Кипели белым дымом брызги, пена, и хлестали волны. Солнце радугой в них иногда вспыхивало. На губах соль и влага, в груди свежесть. Позади – корабль, мачты со вздутыми парусами, хозяин, матросы, волнистая, зеленовато-бело-пятнистая струя и в голубом тумане берега Италии. Рим, дом на Авентине. Впереди – бесконечные хохолки волн да неведомая земля.

Шли благополучно. Одному гребцу за грубость отрубили ухо, другого с пьяных глаз выбросили в море – проходила стайка акул, и любопытно было поглядеть, как они полакомятся. Раб просто утонул! Хозяин, протрезвившись, пришел в ужас: этот негр с серьгой в ухе стоил дорого. Он рвал рыжую бороду, дико ругался и грозил гневом Божиим.

В прозрачных, сиреневых сумерках вошли в гавань большого города.

Алексей рад был уйти с корабля – но и вокруг все было чуждо. Раздавался говор на гортанных, непонятных языках. Во мгле мелькали белые чалмы, тюрбаны, пестрые халаты вперемежку с римскими солдатами и моряками, колонистами. Он долго бродил в закоулках, шумных и распутных вблизи порта, молчаливо сонных выше, по горе. И все всходил и, наконец, достиг заброшенных каменоломен. Внизу виднелись огни города, за ними – темнота моря. Алексей примостился у камней. Так началась первая его ночь на чужбине.

Лежать было не мягко, все же он спокойней спал здесь, чем отец, мать и жена на родине.

Евфимий ничего не понимал. Исчезнуть так, в день свадьбы, не поговорив даже с отцом… Но для чего тогда венчаться? Откуда эти крайности? Точно нельзя быть добрым верующим и иметь жену? Все это мучило и огорчало. Чтоб развлечься, он старался больше играть в шахматы с наемным мудрецом в домике у Тибра. Да, но это бросает тень на самый дом… Евфимий был просто расстроен и ударил даже раз раба, не с той стороны поднесшего ему щербет. Мудрец было поежился, но тотчас принял вид веселый, пошутил над киликийцем: как неловок!

Аглая похудела от волнений. Тоже мало понимала, но по-матерински и по-женски больше плакала, страдала, что не видит сына, не для кого хранить добро, хозяйничать и наводить порядки.

Евлалия же замолчала. Она прямо объяснила, с первых слов, в чем дело.

– Алексей святой. Я это давно знала. Будем ждать. Что Бог пошлет.

И как вдова, надела траур и осталась в доме Авентинском. Стала лишь бледнее, строже, много шила. Ямочка под шеей сделалась поглубже, но ходила она так же прямо, твердо и такая же была прохладная и чистая – будто вновь уснула в ней Психея, чуть разбуженная.

Алексей же обратился в нищего у храма Пресвятой Девы в городе греческих и римских колонистов побережья Малой Азии. Храм стоял выше города, недалеко от каменоломен, где он ночевал впервые. Солнце заливало все здесь легким, трепетно-прозрачным светом. Ослепительно сияли в нем дороги. Слева море смутной и дышащей синевы, с белой россыпью узеньких парусов, внизу плоские кровли домов с кактусами, пальмами и кипарисами, несколькими базиликами и уцелевшим римским амфитеатром, а правей, в сизо-серебряном тумане, – сухой и жгуче-каменистый край, красными пластами обнажающийся к морю. Кое-где рощи, виллы разбогатевших купцов. Дрожащий раскаленный зной.

Нищие сидели с чашками для подаяний. Тень паперти, синея, защищала их. Светящий воздух обжигал. Иной раз на руку садился белый голубь, а потом взлетал к уступу колокольни.

Алексей сразу же роздал все, что захватил с собой из Рима. Если собирал более, чем на день, излишнее делил между товарищами. Ночевал в каменоломнях. И молился больше, чем на родине. О многом мог молиться. С высоты холма Богоматерь, покровительница моряков, благославляла мир, и он лежал синеющий, благоуханный, – а внизу эти же моряки торговали женщинами, и рабами, и детьми, дрались и напивались, убивали и насиловали. Алексей ходил иногда вечером по глухим уличкам и закоулкам порта. Перед освещенными входами сидели девушки, почти нагие, зазывали и кричали. Выбегали на середину, подымали платья. Из домов с красными фонарями неслась музыка, пьяные крики. Пахло нечистотами. Над головой же подымалось небо с потрясающими звездами. А рядом порт. В нем корабли с красными парусами привозили, развозили по всему свету шелковые ткани, золотые украшения, жемчуга, предметы из слоновой кости, гребни, краски.

Алексею лучше было на холме около храма. Он нашел невдалеке и полюбил небольшую рощицу из фиговых и тутовых деревьев. Росли они на почве скудной, каменистой. Тем трогательней были сочные, трехлопастные листья фиги, жирно-блестящие у тута. Фигами нередко он питался. Тутовые ягоды, падая на землю, усеивали ее как бы чернильными орешками.

Под непрерывный звон цикад, удивительный своей неутомимостью, Алексей подолгу сидел в тени рощицы, смотрел на море. И в нем трудно было бы теперь узнать холеного юношу

из дворца Евфимия. Одежда изорвалась, лицо обгорело, черная борода разрослась по щекам, некогда нежным. Даже затылок не так выдавался, прикрываемый курчавой шапкой волос. И лишь глаза сильней, взрослей блестели.

Рабы Евфимия, посланные на розыски, не обратили на него внимания. Дворецкий, что когда-то подавал ему жареных куропаток, начиненных грудинками сицилианских перепелок в кисловатом соусе, равнодушно бросил драхму бородатому нищему на паперти Богородицы Утешения моряков. Алексей же поблагодарил Бога, что довелось ему получить милостыню от собственного раба.

V

Так проходили годы, мало он их замечал. Вставало и садилось солнце, луна изменялась, в гавань приходили корабли и уходили, люди богатели и нищали, умирали и родились. Алексей ставил свечи Богоматери, много молился, мало ел, подолгу сидел на паперти со своей кружкой. Голуби вились над его головой.

Однажды он был очень удивлен: к нему подошел маленький, сморщенный и иссохший человек без возраста.

– Ах, нехорошо забывать прежних друзей и учителей!

Но Алексей отлично узнал его. Хариакис, правда, мало изменился, да и мало преуспел за эти годы. От него так же пахло чесноком, и так же был заплатан его плащ, в седой щетинке подбородок.

– Ну, значит, плохо я тебя учил! После Плотина – паперть, чашка, рубище… И ты доволен? Тебе нравится сидеть здесь, среди всех этих бездельников?

– Да, я доволен.

– И собирать жалкие гроши?

Алексей наклонил голову.

– Ах, понимаю! Ты не просто же сидишь, ты этим отрицаешь прошлое, богатство, семью, родину…

– Я делаю, что мне указано.

– Ну да, вы все, юродивые, говорите так. Пожалуй, тут есть даже смысл… Но все-таки родиться сыном Евфимия, изучать философию и красноречие, чтоб оказаться на паперти… Впрочем, я же сам громил тебе богатых. Я еще менее сейчас люблю их. Но теперь я поумнел. Ни философиями, ни сидениями тут не поделать ничего. Нужно другое.

Хариакис оглянулся.

– Слушай, я хочу с тобой поговорить, но не на людях.

Под вечер они сидели в тени фиг и тутов, в Алексеевой любимой рощице. Зной спадал. Цикады верещали. Над дружным, серебристым хором их в остервенении захлебывались басом несколько особенно взъяренных. Далеко, в красных выемках каменоломен, работали полунагие люди. Неземной лиловатостью были одеты горы, и над изумрудом моря у прибрежья, над каймой пенных кружев брезжила мгла белесая.

– Это и называется Божий свет, который ведь я должен принимать, меня сюда назначили! Я созерцаю Божество вместе с Плотином, и я рад бы стать пневматиком и духоносцем, но… ведь кушать надо! А со всеми гностиками[3] – я же нищий, не на что хлебнуть глоток вина, не говоря уже о поцелуе юных уст. А между тем, все эти… – Он указал на белевшие по склонам виллы среди кипарисов, миртов, роз. – Я их ненавижу! Грабители! На чужом поте взошли. Знаешь, – он живо обернулся к Алексею, – я поучал тебя, что Рим обречен, но теперь, когда

[3] *Гностики* – приверженцы гностицизма, религиозного дуалистического учения поздней античности, вобравшего в себя некоторые черты христианского вероучения, греческой философии и восточных религий.

судьба продолжает меня мыкать, когда я зарабатывал хлеб и писцом, и глашатаем, и сводником, – я возненавидел всех богатых, в Риме ли, Александрии, Тарсе, где угодно. Мир прогнил, надо его разрушить!

Хариакис сделал театральный жест, точно бы сбрасывал рваную хламиду, и, приблизив лицо к самому носу Алексея, срезал себе правой ладонью пальцы левой – для последней убедительности. Желтые глаза его были безумны. Он обрызгал Алексея слюной.

– Я не один. Нас много. Тоже недовольных, жаждущих… И это не впервые здесь… Но ранее, как следует, не удавалось. А теперь мы оснуем новое государство… лучше чем Платоново[4]. Нищие все за нас. Составь дружину и присоединяйся. Мы порастрясем всех, кого следует.

Алексей молчал. Хариакис продолжал убеждать. Ответа все-таки не получил. Тогда он вспотел, раздражился, несколько раз набрасывался на него, потом утих, обозвал дурачком и в наступающих сумерках исчез так же внезапно, как явился. Алексей же сидел долго. Зажигались огни в городе, на судах в порту, красные, зеленые. Южный сумрак синел. Смутно белели в нем дороги. Наплывала теплая струя, и в потемневшем небе звезды разлетались вечными узорами.

Алексей улегся спать под ними. Как обычно в долгих годах чистой и суровой жизни, ощущал себя легко, и жестокая земля не отгоняла. Лишь когда вспоминал Хариакиса, некое облачко находило на душу.

Ему суждено было разрастись.

Через несколько дней у себя на паперти услыхал Алексей разговор двух купцов: они спешно погружали семьи на корабль и уходили – по прибрежью двигались отряды взбунтовавшихся. Заметил Алексей, что меньше стало и его товарищей по нищенству. А через две недели в городе уже шла резня. В церковь спасались перепуганные женщины. Море бессмертно синевело, ветерок широко морщил его, тот же ветерок нежно гнал тучи дыма от горевших – не впервые! – вилл. Все шло, как полагается. Те, кто работали в каменоломнях, в гавани, стали хозяевами города. Как издавна заведено, бросали в море богачей, негры насиловали женщин, а сирийцы дико пьянствовали. Ночью прекраснейшие зарева светили отовсюду. В гавани, у домов разврата, стоял непрерывный вой. Было правительство: цирюльник, беглый солдат и философ Аристид Хариакис – имя его часто слышал Алексей.

Продолжалось это не так долго. Подошли римские войска, явился флот – Алексей видел тяжкие триремы[5] – важно, холодно входили они в порт на веслах. И пожары прекратились. Кровь же полилась рекой спокойной и обратной. Выйдя раз на прибрежную дорогу, Алексей увидел длинный ряд платанов. Ветви их были обрублены. На стволах, как гроздья страшных фруктов, уходили вдаль тела распятых. На одном из первых же деревьев висел сморщенный человек с раздробленным носом и разорванной губой, с седой щетинкой заросшим подбородком.

Нелегко признать в нем было Аристида Хариакиса.

VI

Алексей был очень грустен. Даже реже он ходил теперь в свою рощицу, меньше глядел на город, на море. Он еще усерднее молился, много времени он проводил перед образом Пречистой в церкви.

И однажды в храме раздался голос Ее:

---

[4] Древнегреческий философ Платон (428 или 427 до н. э. – 348 или 347 н. э.) разработал учение об идеальном государстве, представляющем собой иерархию трех сословий: правители-мудрецы, воины и чиновники, крестьяне и ремесленники.

[5] *Трирема* (лат. – имеющий три ряда весел) – боевое гребное судно в Древнем Риме.

– Приведите ко мне человека Божия. Ибо Дух Божий на нем и его молитва угодна Господу. Молитесь, молитесь, подражайте ему, ибо весь мир нуждается в очищении.

Священник прервал службу, хор остановился. Все были в недоумении. Кто человек этот? И где находится? Голос прибавил:

– Не ищите его в храме. Он сидит на паперти, с чашкою в руке.

Привратник догадался.

– Этот тот, – сказал священнику, – нечесаный, с большим затылком. Он семнадцать лет уже сидит у храма.

И пошел за Алексеем.

– Иди, – он взял его за руку. – Сама зовет тебя, Пречистая.

Алексей плохо понял, но пошел. Народ расступился перед ним.

– Вот человек Божий! Посмотрите на него, человека Божия!

Священник его обнял. Народ по-прежнему приветствовал. У женщин были слезы на глазах. Алексей земно поклонился образу Пречистой, поскорее вышел в боковую дверь у алтаря. «Человек Божий!» Огненный крест стоял в его душе, она была в сиянии. И та же сила, что когда-то, в ослепительный послеполудень, подняла его на берегу Тибра, взяла и теперь. Он снова стал иным.

К вечеру Алексей спустился в гавань.

Город не казался уже ему своим. Как будто он вчера в него приехал, день просидел со своей чашкой, завтра уедет. Облачка в огневом золоте медленно плыли на север. Он поглядел на них, и в сердце у него что-то сказало: Таре. Он подошел к матросам. Загорелые, в колпачках, фесках и с серьгами в ухе, они сидели на канатах вблизи пристани и медленно ругались.

– Таре! – мрачно сказал один. – Ишь куда собрался. Там, брат, чума. Кто мрет, а кто бежит. Некому мертвых подбирать, не то что за больными уж ходить.

– Вот хорошо. Я буду ходить за больными, убирать мертвых.

Моряки переглянулись.

– А-а, – вспомнил один, с ямой шрама на щеке, – это юродивый, головастый, с паперти Богородицы. Возьмем его. Пресвятая нас поддержит.

И Алексея взяли с тем, что высадят у Тарса, сами пойдут дальше.

На другой день отплыли. Храм Богородицы долго виднелся на холме, казалось, благословлял плавание. Моряки могли думать, что Пречистая поможет им устроить все дела. Но вышло по-другому. К вечеру поднялась буря, и не только Тарса не увидел Алексей, но не увидели и моряки города, куда шли, а корабль несколько суток колотило по волнам, и раздраженные матросы выбросили б Алексея в море, если бы не ослабели сами. На восьмые сутки, когда стихло, подобрало их судно, шедшее в Остию.

Так Алексей снова попал на родину.

Через два дня с котомкой, палкой на заре вечерней подходил к корчме недалеко от Рима. Там решил ночевать. Скудно поужинав, вышел мимо сеновала в огород с капустой и латуком. Рядом начинался виноградник. Прислонившись к невысокой стенке, отделявшей его, Алексей вздохнул глубоко. Было влажно. Пахло овощами и сырой землей, таинственной близостью болот и моря. Небо полно крупных звезд. Там, между двух тонких кипарисов, где оно светлее, – Рим. Вот – город цезарей, апостолов, ристалищ, катакомб, безумия и святости… Как громил его Хариакис! Великий, но и страшный Рим. Ну что ж, вперед, под кровом Богоматери.

И утром, столь знакомыми воротами у пирамиды Цестия, мимо Тестаччио, нищенскими кварталами он вышел к Авентинскому холму.

Все тот же Рим, все тот же Тибр. Те же полощут белье прачки, так же ходят колесом по улицам мальчишки и сапожники сидят на табуретках в крошечных своих закутках, так же ветер шумит лаврами, дубами Палатина и сгибает легкой дугой стройные кипарисы сада Алексеева отца. И по стене так же легко-упруго ходят тени их.

Алексей попал в час завтрака. Как в годы его детства, под открытым небом вблизи кухни было выставлено три стола для бедных. Старухи, дети, два юродивых, несколько пилигримов с запыленными ногами, слипшимися волосами хлебали суп бобовый, заедая хлебом. Рабы носили блюда жареной козлятины, вкусно дымящиеся. Евфимий проходил, совсем седой, как прежде, милостиво важный, но задумчивее, как-то тише. Рядом с ним шел философ. Алексей поклонился.

– Господин, – сказал, – я издалека, но наслышан о тебе. Прими меня в свой дом. Я буду на тебя работать и питаться крошками с твоего стола.

Евфимий посмотрел на него, сказал философу:

– У меня некогда был сын. Глаза этого странника так же широко расставлены, как у него. Да, но того, наверно, нет в живых. Мои рабы не могли его найти.

И, обратившись к Алексею, разрешил остаться. А потом в грустной сосредоточенности проследовал с философом к своему домику у Тибра.

– Мой сын был очень чистым и хорошим юношей. Но не хватало ему чувства меры. Вот так-то, друг мой. Я богат, знатен, но с тех пор, как Алексей ушел, как умерла жена, мне остается только отводить душу в чтении да разговорах с людьми вроде тебя.

А в это время Алексей шел по другой дорожке сада. И не очень удивился, когда из-за куста азалий показалась перед ним высокая фигура женщины с широкими плечами и тяжеловатой поступью полных ног. Все те же были темные прохладные глаза с сине-оранжевым зрачком, но в черных волосах седины. Она была одета строго и богато.

Увидев Алексея, вдруг остановилась. То ли хотела вскрикнуть – овладела собой, побледнела. А потом низко поклонилась.

– Это ты. Я знаю. И я знала – ты придешь.

Алексей посмотрел на нее.

– Ты все так же прекрасна. Отец не узнал меня. А ты так мало меня видела. Как ты могла узнать?

Евлалия села на скамейку.

– Мне ли не узнать!

– Да, я узнал бы тебя тоже, где б ни встретил и в каком бы виде.

Евлалия подняла голову.

– У тебя слезы? Алексей, у тебя на глазах слезы?

Через несколько времени он сидел с ней рядом на скамейке, как всегда покойный. Говорил негромким, ровным голосом.

– Слушай, Евлалия. Семнадцать лет назад я ушел от тебя и из этого дома. Так повелел Господь. Мне не дано было семейной жизни. Я жил нищим в храме Богородицы. И я молился. Я видел бедных и богатых, злых и добрых, святость и безумие. И мне был дан знак уйти оттуда. Я хотел отплыть в Таре. Пречистая привела меня на родину. Я знаю, ты верна мне, ты все прежняя Евлалия, и ты должна молчать. Ты никому не скажешь, кто я. Помни, ныне я последний здесь, я буду делать черную работу, никому не может быть трудней, чем мне.

Евлалия поцеловала ему руку.

– Я всегда знала: ты святой. Ты пришел спасать родину и нас всех. Да, я знаю. Я верна тебе.

VII

Аглая умерла давно, и в управлении всем домом место ее заняла Евлалия. Она легко усвоила спокойную серьезность и внушительность предшественницы. Но теперь низший раб хозяйства был собственный ее муж. Никто не знал об этом. Может быть, Аглая и узнала бы его. Но у других не было к нему любви – его не замечали.

Потому ли, что напомнил отцу смутно сына, Алексей вначале получал кушанье со стола Евфимия и был предложен даже ему услужающий. Он отказался. Мыл посуду, таскал воду, подметал, выносил нечистоты и у каждого старался взять труднейшую работу, облегчить кого возможно. Всех называл братьями. Ухаживал за больными, заступался за детей и слабых. Сам чинил одежду, спал в бывшей собачьей конуре на досках. Из рабов некоторые удивлялись на него. Большинство смеялось и негодовало.

– Вольный, а туда же лезет, в нашу шкуру. Дурачок, наверное, зашибленный.

– Не дурачок, а просто он прикидывается. Вот посмотрите, стащит что-нибудь, сбежит, а мы останемся в ответе.

И его дразнили, случалось, и обливали помоями. Когда уходил в конуру, дети собирались вокруг, лаяли, кричали:

– Выходи, дам косточку!

Евлалии он не позволял заступаться за себя. Она и понимала его, и не могла спокойно видеть все. Ночью, потихоньку, приходила к конуре, плакала и целовала его руки. Потом шла к себе в спальню, и служанка думала, что она бегает к любовнику. А она медленно сгорала. Раб засыпал, с влажными глазами и душой легкой. Он видел ее синие зрачки, милый стан широкоплечий, ногу полную, весь облик, с юности чудесный.

Но и менялся самый облик. С удивлением замечал Евфимий: все беднее, строже стала она одеваться, отпустила на свободу несколько своих рабынь, питалась хуже, меньше занималась по хозяйству, чаще уходила одна в город – там, в приходе св. Пуденцианы, завелись у ней особые друзья.

– Дочь, – говорил Евфимий, – ты начинаешь увлекаться. Я понимаю доброту и помощь неимущим, я и сам, сколько могу, помогаю. Но во всем мера. Вспомни бедного твоего мужа. Оттого он и погиб, что не знал меры.

– А может быть, он вовсе не погиб. Быть может, мы, отец, в этом дворце, с нашими виллами в Тибуре, Вайях ближе к гибели, чем он…

– Ну, это уж преувеличения!

Евлалия вдруг вспыхнула и покраснела.

– Отец, я лишь теперь и начинаю понимать жизнь – ближе вижу ее. Вся моя молодость прошла в теплице. И вы, прекраснейший, добрейший человек, разве вы видите действительную жизнь? Вы видите дворцы, сады, приятные обеды, музыку и разговоры за вином и шахматами… вы взглянули бы туда, где настоящий Рим, на Целии, на Эсквилине, на Трастевере… Ах, Рим велик, но и ужасен!

Евфимий развел руки.

– Как и мир вообще. Я не ребенок, как ты думаешь. Но лбом стену не прошибить.

– Я вчера видела девочку… Наши спасли ее… дьякон Петр и другие. Ее должны были продать Корнелию Руфу – он бывает в нашем доме!

– Уж и продать. Опять, наверно, преувеличение.

– Нет, это правда, Рим, да и мир, – прибавила Евлалия с каким-то странным выражением, – нуждаются вообще в героях и заступниках. Мы – христиане только по названию. Впрочем, святые есть… мы лишь не знаем их.

Такие разговоры мало нравились Евфимию. Он уходил в домик на берегу Тибра, где ему уж не мешали жить, как нравилось, и видеть, что хотелось.

– Издавна привыкли громить Рим за распущенность, богатства и жестокости, – говорил он философу, раскладывавшему перед ним шахматы. – Понятно, Рим не агнец. И надо признать, что в откровении апостола Иоанна есть кое-что… – Он сделал первый ход. – Но души, склонные к восторженности, раздувают…

Евфимию меняться было уже поздно. Мирно, как и прежде, разыгрывал он свои партии, а годы шли по-прежнему, не быстро и не медленно.

По-прежнему жил Алексей в своей конуре, и чем старше становился, тем все деятельнее: работал сам, работал за других, слабейших, утешал обиженных, мирил поссорившихся, ходил в храм св. Пуденцианы, помогал Евлалии в делах благотворения и подолгу молился на досках своего дома ночью. Его уж не дразнили и не обижали. Напротив, дети приходили с ним играть по вечерам или спасались под его защиту от побоев. На крыше конуры сидели голуби. Ни ястреб и ни кошка не могли здесь тронуть их, они курлыкали и ласково садились Алексею на плечо, на руку, как когда-то в дальнем храме Богородицы.

И так прошло много лет. И никто не узнал, кто этот странный нищий. Когда же наступило ему время уходить, то он позвал жену, сказав:

– Дай мне кольцо, которое я отдал тебе в день венчания. Господь зовет меня, я знаю. Я его надену.

Евлалия заплакала и поклонилась ему в ноги.

– Господин, зачем ты оставляешь нас так скоро?

Алексей погладил ее волосы.

Хотя и болен был, не уходил из конуры. Дети носили ему пищу, голуби держали у его одра почетный караул.

А в один день в алтаре храма св. Пуденцианы голос произнес на литургии:

– Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы.

Народ смутился и стал на колени.

– Пойдите и ищите, – продолжал голос, – человека Божия и просите его, чтобы он молился за Рим.

И опять добавил:

– А найдете вы его в доме Евфимия.

И тогда народ с епископами и священниками пошел к дому Евфимия, а диакон Петр, вдохновленный, вскричал:

– Это, наверное, тот, что ходил к нам со своею госпожой.

И он повел всех к месту, для него знакомому. Их встретила Евлалия. В гробу, рядом с конурой, лежало тело Алексея, все в цветах. Дети плакали, стоя на коленях. Голуби безмолвной вереницею сидели по всему краю гроба. А ласточки, виясь над ним, пели псалом. Диакон Петр вскричал:

– Да это Алексей! Мой ученик!

И со слезами он упал ко гробу. Лицо усопшего стало так юно и прекрасно, и он вновь так походил на Алексея прежнего – его тотчас узнали все, кто сколько-нибудь прежде знал. И прибежал Евфимий и заплакал тоже, тоже целовал. В руке Алексея была грамота, таинственными буквами, не человеческой рукою писанная: Алексей Божий человек – простота, любовь, смирение и бедность.

Тогда все поняли, что он святой. Евфимий не имел уже силы упрекать Евлалию, что скрыла от него о сыне, ибо понял, что все это выше разумения человеческого.

Скоро весть о святом Алексее, любовью и молитвой заступившемся за мир, облетела город, и толпа почтительно стояла вокруг гроба – дети ближе всех. Голуби по-прежнему держали караул. Ласточек сменили жаворонки, жаворонков – перепелки, и так продолжалось, пока не прибыл сам папа Иннокентий.

Тогда тело возложили в раку и перенесли в церковь св. Бонифация-мученика, где было выставлено оно для поклонения народа.

Когда же было похоронено, то на другую ночь перед рассветом тою же калиткой у Тибра, где когда-то выходил Алексей, в черном плаще, темном покрывале, незаметно, навсегда удалилась женская фигура, что в миру носила имя Алексеевой жены Евлалии.

Июнь – июль 1925 г.

Преподобный Сергий Радонежский

Святой Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.

Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность – сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому.

Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело – вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящейся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.

Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт – очень скромный – вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.

Присмотримся же к его жизни.

Париж, 1924 г.

Весна

Детство Сергия в доме родительском для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа.

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей, напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда – Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обратать. И, подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники – то начало ищущее, мечтательно противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

Есть колебания в годе рождения святого: 1314–1322. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать, наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело – этою чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он – очень удрученный неудачами – нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца-черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

– Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей – через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

– Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в моленную и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание. Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать Священное Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы; он многих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает – даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, его больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по святым местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные, – нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их, зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является *свое.* Не потому набожен, что среди набожных живет. Он впереди других. Его ведет призвание. Никто не принуждает к аскетизму – он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой *печатью.* Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение), но какое чувство меры! Сын остается именно *послушным сыном,* житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б: юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, с семьей, духом родного дома и *считался,* как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренно, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

Выступление

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже перед татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что – карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова», – а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников – «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика» или просто «растили» свою вотчину московскую – во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История за них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась *над* удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

А во времена Сергия картина получилась, например, такая: Иван Данилыч выдает двух дочерей, одну за Василия Ярославского, другую за Константина Ростовского, – и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве».

В Ростов воеводою прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты.

Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия… и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили… что Москва тиранствует».

Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем (а к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области.

Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 верстах от Троице-Сергиевой Лавры. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Онисим и др.)

Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла Петр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горестный вид жизни, ее насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к медведям радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий и корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в общенье с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея.

Отец просил его не торопиться:

– Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.

Варфоломей *послушался.* Святой Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы *надолго* затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)[6]. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.

Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час последний пребывания в миру вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.

---

[6] Прямого свидетельства, что Кирилл и Мария ушли в Хотьковский монастырь, нет. Но они там погребены, из чего заключают, что в Хотькове они жили. Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это. Родителям Преподобного Сергия при их предсмертном пострижении в монашество, вероятно, были изменены имена. Кирилл и Мария – мирские имена или монашеские? Известный историк церкви, автор специального труда о Сергии проф. Голубинский считает, что вернее – монашеские.

Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать – и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешения князя и благословенье у местного святителя. Освящали церковь – и обитель возникала.

Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся, как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковский».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огнь, а инии благоухание слышаху».

Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта «лапа» очень многознаменательны. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней, церквей, келий; и в благоуханьи его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине Преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Святой Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренно-уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом и мощами мучеников – церковь освятили.

Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно), у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко – дорог да и тропинок не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

Отшельник

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан[7], которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «на обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно,

[7] «Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения (право духовничества давалось не всем священникам, а только достойнейшим), то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, где были свои игумены, а при мирских церквах, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось» (Голубинский). Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, а, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.

именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7 октября постриг юношу. В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием – воспринял имя, под которым перешел в историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия Святых Таин. Затем остался на неделю в келии, каждый день совершал литургию. Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделив». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную:

– Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова пророка: «се удалихся бегая, и водворихся в пустыне». Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего внутренне первые месяцы пустынника. Нелегко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг – выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток Божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.

Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол – слабость. Бог – выпуклое, дьявол – вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал – недостижимым. Борьба – безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина… и для усталого миражи возникают.

Отшельники прошли через это все. Святой Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это – непрерывное тренированье духа: чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях за день (examen de conscience католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и т. д.

Святой Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церквице» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в остроконечных шапках, на манер литовцев[8]. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его».) Бесы исчезли.

[8] «Бесы были все в остроконечных шапках на манер литовцев». – Трудно представить себе, чтобы сейчас литовец мог пугать кого-нибудь под Москвою. Но в XIV веке было по-другому. Не раз литовцы наступали на Москву, разоряли и жестоко

В другой раз келия наполнилась змеями – даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое: как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»

Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, на древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь как отзыв на тяготенье. Он одолевает.

Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Святой Антоний в Фиваиде мучился томленьем сладострастия, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Святой Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

Так прожил он в полном одиночестве некоторое время. Епифаний не ручается за точность. Просто и прелестно говорит он: «пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше – старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья редкие и литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал – с детских ведь лет был, как родители, «странноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны, Василия Сухого; земледельца Якова, братия называла его Якута, он служил вроде рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всем сами. Упоминаются еще: Они-сим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия из Ростовской земли, Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.

Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном для защиты от зверей. Онисима, чья келия находилась у ворот, Сергий поставил *вратарем.* Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.

Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил

грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370 г.). Дмитрий Донской, победитель Мамая, должен был отсиживаться за московскими стенами перед литовским князем!Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. Преподобный Сергий много, вероятно, о них слышал, если даже в кротком уединении бесы примерещились ему в облике литовцев.

и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как купленный раб». И, наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером – вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы в огородах, шитье одежды, переписыванье книг и даже иконописание. Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братии – был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.

Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал в Сергии и деятель.

Игуменом он еще не был и священства не имел. Но это уже настоятель малой общины, апостольской по числу келий, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.

Игумен

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не такую суровую и менее формалистическую, чем, например, Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власяницы, выставлявший себя на съеденье комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее – это опять иной облик. Жизненное же и устроительное дело Сергия делалось почти *само собой,* без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли.

Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.

– Желание игуменства, – говорил, – есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию. (До сих пор приходилось приглашать священника со стороны. А в древних монастырях обычно игумен был и священником.)

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

– Желаю, – сказал, – лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить – перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переславль-Залесский.

Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колена и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком и когда к Лавре вряд ли и проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.

Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний повелел принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто, в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры и, осенив крестом, поставил в иподиакона. За литургией Сергий был возведен в иеродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий сам служил

литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил.

И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви – воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь в игуменстве не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленным рабом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную церковь Святой Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской Лавре.

Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет, – говорит Епифаний, – одеть пришельца в длинную свитку из грубого, черного сукна и велит проходить какое-нибудь послушание вместе с прочими братиями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому; потом облечет его в одежду монашескую и только после испытания постриже уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостоивал и святой схимы».

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще «особножитный». Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось – например, у архимандрита Симона, у Пересвета и др. До времени Сергий не запрещал этого. Но за духовной жизнью братии наблюдал пристально и вел ее. Во-первых, был духовником – ему исповедовались. Он определял меру послушания сообразно силам и способностям каждого. Это – внутреннее его общение. Но следил и за внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением священных книг, переписыванием их, иконописью – но никак не в разговорах.

По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, Преподобный обходил келии и заглядывал в «волоковые»[9] оконца. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, а наутро звал к себе, «увещевал». Действовал спокойно и не задевая, более всего стараясь убедить. Но иногда налагал и епитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика.

Вероятно, как игумен, он внушал не страх, а то чувство поклонения, внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету апостола Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от святого Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, *над землей,* но летел «в люди», с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить (учредили за него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него не существенны.

Напротив, Сергий не был проповедником, ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча *самим собою,* «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» – наряду с дисциплиною душевной – огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его. Святой Сергий, православный

[9] *«Волоковое» оконце* – окно, оконце или проем с *волоком* – задвижным изнутри ставнем.

глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а святой Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал.

Итак, Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения литургии, воска для свечей, масла лампадного, для переписывания книг не только что пергамента, но и простой харатьи[10]. Литургию иногда откладывали. Вместо свечей – лучины. Образ северный, быт древний, но почти до нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома и в тяжелые недавние годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости в окружении той *святой бедности,* что не отринул бы и сам Франциск. Книги переписывали *на берестах* – этого, конечно, уж не знал никто в Италии блаженно-светлой. В Лавре сохранились до сих пор бедные деревянные чаша и дискос, служившие при литургии, и фелонь Преподобного – из грубой крашенины с синими крестами. Питались очень дурно. Нередко не было ни горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах – масле и т. п.

Следующие два рассказа изображают материальное положение монастыря и роль игумена – верно, немыслимую для Запада.

В одну из затруднительных полос Преподобный Сергий, проголодав три дня, взял топор и пошел в келию к некоему Даниилу:

– Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.

– Правда, – отвечал Даниил, – мне бы очень хотелось построить их; у меня все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.

– Эта работа недорого тебе обойдется, – сказал ему Сергий, – мне вот хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать другого плотника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба («изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов»), которого сам не мог есть, и сказал: вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи.

– Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.

И, крепко подтянув себя поясом, принялся за работу. До позднего вечера пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба как условленную плату за труд целого дня. Только тогда Сергий поел.

Итак, игумен, духовник и водитель душ в личном своем деле оказывался последним, чуть что действительно не «купленным рабом». Старец Даниил начинает с того, что опасается, как бы Преподобный Сергий не «взял слишком дорого». Почему он решил, что Сергий возьмет дорого? Почему допустил, чтобы игумен трудился на него целый день? Почему просто не поделился своим хлебом? (Даже не «поделился»; сказано, что сам он этого хлеба не мог есть.) Не указывает ли это, что сквозь воспитание и воздействие Преподобного в отдельных иноках прорывалось самое обычное, житейское до черствости и расчета? Старец, приходивший к Сергию на исповедь, за душой и благочестием которого тот следит, считает правильным заплатить ему за труд целого дня негодным хлебом – плотник из села к нему и не притронулся бы. А Сергий, очевидно, выделяет деятельность духовную, водительную, от житейских отношений. Скромность – качество его всегдашнее. Здесь блистательное проявление его.

Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпением, сдержанностью самого Сергия рядом с большей слабостью некоторых из братии.

---

[10] *«Харатья», хартия* (лат. Charta), стар. – папирус, пергамент – все, на чем встарь писали, и самая рукопись.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня – заропта-ли.

– Вот, – сказал Преподобному инок от лица всех, – мы смотрели на тебя и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

– Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

– Ну вот, вы, алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

– Где же тот брат, что роптал на заплесневевшие хлебы? – спросил Преподобный за тра-пезою. – Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам Господь.

Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, это – дар неиз-вестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не имеют времени остаться. И они уже уехали.

Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии и перешел в житие как проявление Промысла, поддержавшего Преподобного в тяжелую минуту. Нас же он подводит уж вплотную к чудесам его.

Святой Сергий – чудотворец и наставник

Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека, чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопровод-ность. Ощущать действие этого Промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нару-шение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и под которой, глубже, кипит царство сил духовных) – чудо «просто смертному» не дано (как не дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо – победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь неединственны. То, что называем мы «чудесным», совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что, кроме буден, ничего и нет. Для моллюска чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо – капелька воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невиди-мого, и главное чудо, наименее приемлемое, – мгновенная отмена нашего маленького закона: воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся оттуда на призыв любовный, что идет *отсюда.*

Даже Преподобный Сергий в ранней полосе подвижничества не имел видений, не творил чудес. Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, самопросветления приводит его к чудесам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугаю-щих видений, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества, нет в старости Сергия, когда дух его приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.) В этом отношении, как и в

других, жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренно-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом, не его путь.

Спокойно, внутренне дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными, житейскими делами. Пока Преподобный жил один на своей Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для многих? Или родник *вообще* был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии, – неизвестно. Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который братия назвала было *Сергиевой рекой.* Но он запретил называть его так.

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем как о святом и приходили с поклонением и за советами, а главное, со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тяжелобольного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться за него и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии святого: по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его словами:

– Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.

Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаивать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, а теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил Преподобного за его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает блаженный Епифаний, от келейника Преподобного Сергия. Его рассказ и приводит Епифаний.

Он передает еще о тяжелобольном, который три недели не мог спать и есть и которого исцелил святой Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно. Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.

Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сергий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен о выздоровлении. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец, Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»

И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили, почему он бросился в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от креста и объявший его. Он и хотел укрыться в воде.

Такие исцеления и облегчения и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему как мудрецу и святому шли люди разных положений – от князей и до крестьян. Пусть рос и богател монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойным утешителем, наставником, иногда судьей.

Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.

Вблизи монастыря богатый отобрал у бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сергию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожалел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети. Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.

Другой рассказ – о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости Сергия, слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде монастыря.

Сергий должен был за руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.

Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несомненно, очень многие приходили просто за советами, каялись в делах, томивших душу: обо всем не может же сказать Епифаний. Он передает о наиболее запомнившемся.

Вообще в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». На наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину: от Гоголя, Толстого, Соловьева со сложнейшими запросами души до баб – выдавать ли замуж дочку, да как лучше прожить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы – и в кощунствах, и в убийствах.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, заступника и ободрителя. В его времена старчества еще не было. Старцы в православии явились поздно, в XVIII веке, с Паисием Величковским. Но самый тип учительного старца древен, он идет из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей Псковский.

В позднейших монастырях старцы выделились в особый разряд созерцательных мудрецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской жизни.

Сергий был и игуменом, и, как увидим, даже и общественным и политическим деятелем. Но может считаться и основоположником старчества.

Общежитие и тернии

Не совсем ясно, были ли при жизни Сергия у обители его жалованные села. Скорее – нет. Считается, что запрета *принимать* даренья он не делал. Запрещал *просить*. На крайней же, францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог дает», значит, надо брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Солигалич).

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост – беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ее условность – образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все возведенное к предельной легкости, чистоте.

Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую как негодную другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не случилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая («пелесоватая») и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал другому, и так обошла она до семи человек. Но Преподобный Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.

Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послушников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.